



• МЫСЛИТЕЛИ ПРОШЛОГО •



М.А.ФОНВИЗИН



А. Ф. ЗАМАЛЕЕВ

М. А. ФОНВИЗИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МЫСЛЬ»
Москва 1976

РЕДАКЦИИ ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Замалеев Александр Фазлаевич (род. в 1943 г.) — ассистент кафедры философии и научного коммунизма 1-го Ленинградского медицинского института имени академика И. П. Павлова. Специализируется в области истории русской философии. Автор работ, опубликованных в журнале «Наука и религия»: «Христианство и язычество в Киевской Руси» (1972, № 5); «Разум и вера в древнерусской философии» (1972, № 6); «Декабристы и христианство» (1975, № 12). В 1975 г. в издательстве «Удмуртия» вышла брошюра «От просветительской утопии к теории революционного действия (Очерк социологии декабристов)».

Замалеев А. Ф.

З-26 М. А. Фонвизин. М., «Мысль», 1976.
152 с. (Мыслители прошлого).

Книга представляет собой одно из первых в советской историко-философской литературе монографических исследований теоретического наследия М. А. Фонвизина — известного декабриста-мыслителя. Его взгляды, явившиеся последовательным развитием идей Пестеля, Н. Муравьева, Н. Бестужева, автор рассматривает как попытку создания революционно-демократической идеологии в России.

З $\frac{10501-241}{004(01)-76}$ БЗ-43-1-76

1ФС

© Издательство «Мысль». 1976

© Сканирование и обработка: glarus63

Основная идея социализма есть истина, и грядущее этой идее принадлежит.

М. А. Ф он в и з и н.

ВВЕДЕНИЕ

Восстание декабристов имело огромное значение в истории нашего Отечества. Являясь самым крупным событием в политической и идеологической жизни России первой четверти XIX в., оно знаменовало собой начало русского революционно-освободительного движения.

Причины этого события коренятся прежде всего в условиях российской действительности. Распространение «духа преобразования» в дворянском обществе было следствием общего недовольства государственными порядками, которое со всей остротой проявилось в эпоху Екатерины II и особенно в период «Павлова тиранства». Передовые люди России, и прежде всего дворянские революционеры, не хотели больше мириться ни с традиционным монархическим правлением, ни с существующим положением крепостного крестьянства, так как и то и другое являлось тормозом прогрессивного развития страны. «Цивилизация, — указывал А. И. Герцен, — внушала дворянству новые потребности и вместе с тем предлагала новые пути и средства для их удовлетворения. Развитие промышленности и фабрик, распространение начал политической экономии, приспособленной к местным обычаям, дали новые средства ис-

пользования крестьян» (29, 51)*. Передовые представители дворянства были заинтересованы в формировании буржуазных отношений и поэтому требовали хотя бы частичного преобразования государственной системы.

О характере этих требований можно судить, в частности, на основании «Записки», составленной в 1799 г. екатерининским дипломатом князем А. А. Безбородко. Цель будущей реформы он видел в учреждении конституционной монархии. Его не удовлетворяло также и положение крепостных крестьян, которое, по его мнению, требовало «поправления». Он предлагал, во-первых, запретить личную продажу крестьян и установить неприкосновенность движимого крестьянского имущества и, во-вторых, сократить число дворовых людей и уменьшить крестьянские подати. «Сим образуется, — полагал Безбородко, — прямая вольность поселян» (цит. по: 55, 55).

Дворянское общество восторженно встретило вступление на престол Александра I, ибо он, опасаясь оппозиционных настроений в высшем сословии, сразу же объявил о своем намерении водворить строгую законность вместо царившего при его предшественниках правительственного произвола. Позднее он неоднократно говорил о необходимости подготовить общественное мнение к упразднению крепостного права, запретил печатать в периодических изданиях публикации о продаже крестьян без земли, а также раздачи

* Здесь и далее первая цифра в скобках означает порядковый номер источника в списке литературы, помещенном в конце книги; цифра курсивом — том, если издание многотомное; следующая цифра — страницу цитируемого источника.

населенных имений в частную собственность. 20 февраля 1803 г. был обнародован закон о свободных хлебопашцах, позволявший помещикам освобождать своих крестьян от крепостной зависимости, но непременно целыми селениями или отдельными семьями и наделять их при этом землей. И хотя дело не двинулось дальше обещаний и «дозволений», тем не менее указы и манифесты Александра I значительно ослабили оппозиционные тенденции в среде дворян, о чем достаточно красноречиво свидетельствует тот факт, что даже такие выдающиеся дворянские просветители, как А. С. Кайсаров, И. П. Пнин, В. Ф. Малиновский, примыкавшие к радищевскому направлению, прониклись конституционно-монархическими иллюзиями. Кайсаров прямо утверждал, что свобода «может иметь место не только в республиках, но и в монархиях, и даже, что на первый взгляд поражает, в монархиях гораздо более. Напротив того, в республиках отдельным личностям почти вовсе не дается свободы» (41, 365).

Усилению монархических иллюзий способствовала отчасти законодательная деятельность М. М. Сперанского, которому император поручил в 1808 г. составление плана государственного преобразования. Разрабатывая проект, Сперанский исходил из того, что Западная Европа прошла через три основных этапа в развитии политических форм государственности: феодальной раздробленности, «второй феодальной системы» — «феодального самодержавия» и республиканский. Подобным же образом, считал Сперанский, совершается развитие форм государственности и в России: удельный домосковский период образует «первую эпоху феодального

правления», со времени Ивана Грозного утверждается самодержавие.

В настоящий момент, замечал далее Сперанский, русское государство стоит «во второй эпохе феодальной системы, то есть в эпохе самодержавия, и, без сомнения, имеет прямое направление к свободе». Эта свобода подготавливается постепенным развитием промышленности, торговли и просвещения. Однако их развитию в России препятствует крепостное право, поэтому оно должно быть уничтожено. «Какое, впрочем, противоречие, — восклицал Сперанский, — желать наук, коммерции и промышленности и не допускать самых естественных их последствий... Нет в истории примера, чтобы народ просвещенный и коммерческий мог долго в рабстве оставаться» (61, 19). Так Сперанский обосновывал необходимость перехода от самодержавия к республиканскому правлению, но он полагал, что осуществить такой переход можно путем правительственных реформ. «Конституции во всех почти государствах, — доказывал он, — устрояемы были в разные времена отрывками и по большей части среди жестоких политических бурь. Российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей и крайности обстоятельств, но благодетельному вдохновению верховной власти, которая, устрояя политическое существование своего народа, может и имеет все способы дать ему самые правильные формы» (цит. по: 51, 176).

Эта наивная вера в «благодетельное вдохновение» российского самодержца дорого обошлась Сперанскому: он подвергся жестокой опале и в 1812 г. был сослан в Нижний Новгород.

Пример Сперанского убедил Александра I в невозможности заглушить в дворянском обществе конституционные стремления. Он круто меняет свою политику. В стране упрочивается аракчеевская реакция. Наиболее ярким показателем деспотического произвола во внутренней политике является организация военных поселений. 18 апреля 1817 г. был издан указ, извещавший о желании императора «дать каждому полку свою оседлость в известном округе земли, определить на укомплектование оного единственно самих жителей сего округа» (там же, 346). Число военных поселений быстро росло. Александр I придавал им исключительное значение по целому ряду причин: он намеревался таким образом, во-первых, разрешить крестьянский вопрос, не посягая на экономические привилегии дворянства, во-вторых, изолировать армию от крестьянской массы и превратить ее в послушное орудие самодержавного деспотизма.

Однако надежды Александра I не оправдались. Военные поселения оказались не только центрами стихийных солдатских возмущений и бунтов, но послужили одним из толчков к формированию декабристской революционной оппозиции. Член Северного общества Г. С. Батеньков в данной связи писал: «Зрелище военных поселений и Западной Сибири, угнетаемой самовольным и губительным управлением, общее внутреннее неустройство, общие жалобы, бедность, упадок и стеснение торговли, учения и самых чувств возвышенных, неосновательность и бездействие законов, несуществование истинной полиции — все, с одной стороны, располагали не любить существующий порядок, с другой же — думать, что революция близка и не-

избежна» (35, 1, 176). Поэтому когда позднее другой декабрист — Д. И. Завалишин — утверждал, что «либеральные, гуманные идеи были заимствованы от Запада, а революционные были свои собственные, доморощенные» (34, л. 28), то он имел на это полное основание.

Будущие декабристы, приступая к созданию тайного общества, исходили из убеждения, что Россия находится накануне революции и что именно революция является единственным средством преобразования всей государственной системы. Это побуждало их внимательно изучать опыт национально-освободительных движений в Западной Европе. «...Сии происшествия, — писал в своих показаниях П. И. Пестель, — ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобствами оные производить» (31, 505).

Первая тайная организация — «Союз истинных и верных сынов отечества», или «Союз спасения», — была создана в конце 1816 г. В нее вошли Сергей Муравьев-Апостол, Трубецкой, Якушкин, Александр и Никита Муравьевы, Пестель. Позднее к ним присоединился М. А. Фонвизин, ставший одним из наиболее инициативных деятелей тайных декабристских организаций. Программу «Союза» разработал Пестель. В ней ставились две задачи: освобождение крестьян от крепостной зависимости и введение представительных учреждений.

Однако с притоком новых членов «Союз» утрачивает первоначальное идейное единство. Если теперь ни у кого не вызывала возражений первая задача тайного общества, то относительно второй полного единодушия уже не было. Многие начинали склоняться к мысли, что не

самодержавие составляет главное зло для будущего России, а крепостное право, и предлагали сохранить в программе лишь пункт об искоренении «рабства»: «Горе тем государственным людям, — доказывал А. И. Тургенев, придерживавшийся умеренных взглядов, — кои, не искоренив сего первого зла, будут думать об ограничении самодержавной власти! В землях, где существует деспотизм, состояние людей, коих участь зависит от других, то есть состояние рабов, всегда бывает несравненно лучше, нежели в республиках и в других ограниченных правительствах» (63, л. 6).

В 1818 г. противоречия в «Союзе спасения» приобрели особенно острый характер. Это было связано с некоторым оживлением в дворянском обществе монархических иллюзий под влиянием речи, произнесенной Александром I на открытии польского сейма, в которой он уверял в своей приверженности к представительным формам правления и высказывал намерение распространить законно-свободные учреждения «на все страны, провидением попечению моему вверенные» (цит. по: 51, 342). Умеренные члены «Союза» восприняли речь императора как подтверждение собственной правоты и потребовали полного пересмотра пестелевского устава. Так появилась вторая программа тайного общества, созданного в 1818 г. и получившего название «Союз благоденствия».

Устав «Союза благоденствия» («Зеленая книга») вменял в обязанность членам общества «распространением между соотечественниками истинных правил нравственности и просвещения споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденст-

вия, к коей она самим творцом предназначена» (35, 1, 241—242). В нем последовательно проводилась идея, что благоденствие государства находится в тесной зависимости от «добрых нравов» народа и что именно отсутствие добродетели разлагает его и повсюду насаждает зло, против которого бессильны любые благие правительственные законы. Оттого-то, говорилось в Уставе, нельзя «возлагать вину всего на правительство»; напротив, оно постоянно стремится к одной только цели — к «пользе общей». Правительство заботится и о добродетели, сознавая, что «добрая нравственность есть твердый оплот благоденствия и доблести народной». Однако оно едва ли добьется успеха, «ежели управляемые с своей стороны ему в сих благотворных намерениях содействовать не станут...» (там же, 241).

Составители Устава, доказывая необходимость деятельного «противоборствования» злу, трактуемому ими чрезвычайно абстрактно, предлагали столь же абстрактные средства для его устранения. Они рекомендовали, в частности, «всеми силами» попирать невежество и всячески поощрять любовь «ко всему отечественному». Советовали, кроме того, во-первых, объяснять всем гражданам их обязанности в отношении к христианской вере, ближнему, отечеству и существующим властям, во-вторых, призывали «личным примером», «словом» и через «повременные издания» склонять помещиков «к хорошему с крестьянами обхождению» и соответственно искоренять продажу крепостных людей в рекруты и «поодиночке», наконец, в-третьих, предлагали уговаривать соотечественников «к составлению человеколюбивых обществ и заведений», чтобы в

конечном счете «согласить все сословия» (см. там же, 243).

Как видим, социальная программа «Зеленой книги» всецело выдержана в духе умеренного просветительства. Это свидетельствует о том, что сторонники конституционно-монархического правления получили в «Союзе благоденствия» решительный перевес над радикальной пестелевской группировкой. Правда, сам Пестель писал, что новый Устав был составлен с учетом конспиративных соображений, на случай если тайное общество будет раскрыто, и предназначался он лишь для показа «вступающим». Однако факт остается фактом: «настоящая цель», как сообщал позднее в своих показаниях А. Муравьев, не была «ни утверждена, ни принята обществом, а была в виде проекта, в котором можно было делать перемены и даже совсем уничтожить» (цит. по: 51, 388). Таким образом, общепринятой целью «Союза благоденствия» становится умеренно просветительская пропаганда «здравых идей» и понятий о государственном благоденствии и критика всего «чужестранного, дабы ни малейшее к чужому пристрастие не потемняло святого чувства любви к отечеству» (35, 1, 268).

Но это, разумеется, не означало прекращения идейно-теоретических и организационных споров внутри «Союза благоденствия». Вскоре становится очевидным, что сосуществование в одном обществе сторонников конституционной монархии и приверженцев «республиканской свободы» невозможно. Разногласия были столь значительными, что требовали принципиального обсуждения. В январе 1820 г. в Петербурге состоялось совещание коренной управы «Союза

благоденствия». Участники совещания (Пестель, Н. Муравьев, Лунин, Трубецкой и др.) постановили созвать съезд, который состоялся через год в Москве. На московском съезде 1821 г. с планом реорганизации тайного общества выступил М. А. Фонвизин. Он отстаивал по существу пестелевский план (сам Пестель на съезде не присутствовал) создания строго конспиративной организации и предлагал «освободиться» от ненужных тайному обществу членов. Обсуждение проекта Фонвизина показало, что «Союз благоденствия» в своем настоящем виде реорганизован быть не может, поэтому на съезде было принято решение упразднить его вообще. На его базе возникли две новые тайные организации — «Южное общество» во главе с Пестелем и «Северное общество», руководимое Н. Муравьевым.

Деятельность этих декабристских обществ проанализирована в литературе всесторонне и обстоятельно (см. 50). Однако это не означает, что в истории декабризма нет больше «белых пятен». В частности, до настоящего времени еще не изучено литературное наследие М. А. Фонвизина, с именем которого связано развитие пестелевской идейно-теоретической традиции в русской социологии 40 — начала 50-х годов XIX в. Рассмотрим прежде, хотя бы в общих чертах, программные документы Пестеля и Н. Муравьева. Это позволит нам выявить исходные теоретические принципы, лежащие в основе социально-политических взглядов Фонвизина.

Идейно-теоретические расхождения Пестеля и Муравьева выразились преимущественно во взглядах на форму государственного устройст-

ва и пути будущего развития России. Пестель отмечал в своих показаниях: «...конституция Никиты Муравьева многим членам общества весьма не нравилась по причине федеративной его системы и ужасной аристокрации богатств, которая оною созидалась в обширнейшем виде» (35, 2, 181). Именно по этим двум пунктам не могли прийти к соглашению руководители обществ.

На самом деле Муравьев не был безусловным сторонником конституционной монархии, как можно предположить на основании его «Проекта конституции». Он признавался, что если бы «императорская фамилия не приняла Конституции, то как крайнее средство я предполагал изгнание оной и предложение республиканского правления» (35, 1, 243). Но Муравьев был совершенно убежден в необходимости федеративного устройства государства. Он считал, что только федерация исключает всякую возможность реставрации деспотической власти. «Федеральное или Союзное Правление, — писал он, — одно разрешило сию задачу, удовлетворило всем условиям и согласило величие народа и свободу граждан» (там же, 296).

Пестель, анализируя муравьевскую конституцию, справедливо указывал, что разработанное в ней федеративное устройство государства, хотя с первого взгляда может «показаться удобным и приятным», имеет крупные недостатки. Во-первых, в федеративном государстве верховная власть — народное вече — «не законы дает, но только советы»; во-вторых, предоставление каждой области, входящей в федерацию, права устанавливать свои особые законы и даже особый образ правления ослабит «связь между

разными областями» и приведет постепенно к разрушению государства. «Слово «государство» при таком образовании, — писал он, — будет слово пустое, ибо никто нигде не будет видеть государства, но всякий везде только свою частную область; и потому любовь к отечеству будет ограничиваться любовью к одной своей области» (35, 2, 91).

Пестель выступал за сохранение единой и неделимой России и, отвергая конституционно-монархический принцип, решительно проводил курс на революционное учреждение республиканского правления в форме представительной демократии. В древности, по его мнению, когда государства были еще малы и народы немногочисленны, все граждане могли свободно собираться в одном месте «для общих совещаний о важнейших государственных делах, тогда каждый гражданин имел голос на вече и участвовал во всех совещаниях народных». С увеличением народонаселения государств этот демократический порядок был уничтожен: теперь для участия в государственных делах стали съезжаться только богатые и военные. «Тогда возникла, — считал Пестель, — аристократия, а потом и вся феодальная система со всеми ее ужасами и злодеяниями» (там же, 143).

Народы, стремясь избавиться «от нестерпимого ига аристократов и богатых», начали добиваться восстановления своих исконных прав. Но поскольку они стали многочисленными, то восстановить демократию в первоначальном виде было уже невозможно; тогда родилась «великая мысль о представительном правлении», которая в послефеодальный период возвратила им «право на участие в важнейших государст-

венных делах». Однако и в этом случае народы ничего не выиграли: в представительных государствах опять стали участвовать в выборах лишь богатейшие люди — «аристократия богатств», сменившая «аристократию феодализма» (см. там же, 143—145). «Отличительная черта нынешнего столетия, — резюмировал Пестель свои историко-социологические наблюдения, — ознаменовывается явною борьбою между народами и феодальною аристокрацией, во время коей начинает возникать аристократия богатств, гораздо вреднейшая аристократии феодальной, ибо сия последняя общим мнением всегда потрясена быть может... между тем как аристократия богатств, владея богатствами, находит в них орудия для своих видов, противу коих общее мнение совершенно бессильно и посредством коих она приводит весь народ, как уже сказано, в совершенную от себя зависимость» (там же, 98).

Пестель отвергал конституцию Муравьева по принципиальным соображениям: она, на его взгляд, помимо федеративного устройства всемерно поощряла возникновение «аристократии богатств» — буржуазии, которая, по его мнению, могла явиться препятствием для революционного преобразования России на началах представительной демократии.

Действительно, если мы рассмотрим систему избирательного права, прокламируемую Муравьевым, то легко убедимся в правоте Пестеля. Муравьев предлагал, во-первых, полностью сохранить за помещиками их земли, а во-вторых, наделять избирательными полномочиями и правами быть избранными в общегосударственные и державные органы только тех лиц, ко-

торые имеют личное недвижимое имущество. Крестьяне же, хотя и освобождались от крепостной зависимости, тем не менее получали землю не в частную собственность, а в общественное владение и, становясь «общими владельцами», лишались права лично избирать представителей власти. Они могли лишь «назначить одного избирателя с каждых 500 жителей мужского пола, и сии избиратели, назначенные общими владельцами, подают голоса наравне с прочими гражданами...» (35, 1, 305). Иллюзорность такого равенства очевидна: Пестель прекрасно понимал это и призывал «в полной мере всякую даже тень аристократического порядка, хоть феодального, хоть на богатстве основанного, совершенно устранить и навсегда удалить, дабы граждане ничем не были стесняемы в своих выборах и не были принуждаемы взирать ни на сословие, ни на имущество, а единственно на одни способности и достоинства и руководствоваться одним только доверием своим к избираемым ими гражданам...» (35, 2, 145).

Итак, расхождения между Пестелем и Муравьевым по вопросу о формах государственного устройства заключались в различных выводах относительно будущего развития России: Муравьев выступал за буржуазную конституционную монархию (мы основываем данное заключение, исключительно исходя из его «Проекта конституции»), а Пестель — за представительную-демократическую республику. Неприязнь Пестеля к конституционной монархии заходила столь далеко, что он, по его словам, даже «предпочитал самодержавие таковой конституции, ибо в самодержавном правительстве, — рассуждал он, — неограниченность власти открыто

всем видна, между тем как в конституционных монархических тоже существует неограниченность, хотя и медлительнее действует, но зато и не может так скоро худое исправить» (там же, 166).

Пестель опасался того, что возникновение буржуазии, с одной стороны, ослабит революционные тенденции в русском обществе, с другой — затормозит развитие демократических представительных учреждений. Он ратовал за истинное политическое равенство всех граждан государства, трактуя это равенство в смысле безусловного права каждого человека на одинаковые выгоды, «государством доставляемые», и на равные обязанности в несении всех тягостей, нераздельных «с государственным устройством». Поэтому он решительно требовал ликвидации крепостного права и отмены сословно-классового деления общества. «...Самозвание дворянства, — писал он, — должно быть уничтожено: члены оного поступают в общий состав российского гражданства...» (там же, 105).

Вместе с тем Пестель считал, что освобождение крестьян не должно свестись к дарованию им «мнимой свободы», оно должно доставить «лучшее положение противу теперешнего». Это лишний раз подтверждает отрицательное отношение его к западноевропейскому решению аграрно-крестьянской проблемы, в результате которого крестьяне, получив личную свободу, оказались, однако, без всякой земельной собственности. Пестель стремился не только исключить возможность появления национальной русской буржуазии, но и устранить причины, способные породить пауперизацию крестьянства.

В этом вопросе Пестель придерживался взгляда, который был сформулирован А. Н. Радищевым и получил всестороннее обоснование в трудах русских просветителей начала XIX в. Радищев утверждал, что государство будет обогащаться, если расширит свое земледельческое хозяйство и направит его на удовлетворение потребностей народа. «Но если небольшое число захватывает земли, — писал он, — тогда торговля будет блестящей, а государство бедным, как Россия и Польша» (цит. по: 36, 639).

Так же настойчиво выступал против обезземеливания крестьян выдающийся русский социолог-просветитель В. Ф. Малиновский. «Законодательство, — предостерегал он, — должно быть осторожно, чтобы не завести в России, как в прочих странах Европы, крестьян безземельных...» (49, 120). Забота о предохранении России от появления безземельных крестьян, сельских пролетариев не означала, разумеется, отрицания промышленного развития вообще. И Радищев, и Малиновский полагали только, что не в промышленности, а в земледелии создается общественное богатство, непосредственно определяющее уровень народного благосостояния.

Этих взглядов придерживался и Пестель: мысль о земледелии как «главнейшем богатстве» России лежит в основе его аграрного проекта. Особенностью проекта является попытка примирить общественную и частную формы землевладения. Существуют два мнения о земельном вопросе, говорит Пестель; согласно первому, земля есть собственность всего рода человеческого и поэтому не может быть разделена между несколькими людьми. Второе мнение, напротив, утверждает, что труд, вложен-

ный в землю, является источником собственности на нее и что «неуверенность в сей собственности, сопряженная с частым переходом земли из рук в руки, никогда не допустит земледелия к усовершенствованию» (35, 2, 134).

Хотя мнения эти, замечал Пестель, совершенно противоречат друг другу, однако они «много истинного и справедливого содержат»: действительно, с одной стороны, земля «предназначена для доставления необходимого всем гражданам без изъятия» и должна «подлежать обладанию всех и каждого», а с другой — «право собственности... есть право священное и неприкосновенное». Выход из положения Пестель видел в разделении всех государственных земель на две части — общественную и частную.

Общественная земля составит неприкосновенную собственность волостного общества и будет передаваться отдельными участками членам волости, но не в полное владение, а для того, «чтобы их обрабатывать и пользоваться их произрастаниями». Земли же частные будут принадлежать казне или отдельным лицам, обладающим ими «с полною свободою». Эти земли предназначаются для образования «частной собственности, служить будут к доставлению изобилия», которое в свою очередь «послужит поощрением к направлению капиталов на устройство мануфактур, фабрик, заводов и всякого рода изделий, на предприятие разных коммерческих оборотов и торговых действий». Приобретать частную землю может, считал Пестель, любой состоятельный член волости; точно так же любой владелец частной земли имеет право на получение общественного участка. Такой смешанный тип землепользования, доказы-

вал он, не встретит в России противодействия, ибо «понятия народные весьма к оному склонны» (см. там же, 134—140).

Напомним, что пестелевский аграрный проект был направлен против того решения земельного вопроса, какое предлагал Н. Муравьев. В конституции Муравьева земля хотя и предоставлялась крестьянам в общественное владение, но в ней вместе с тем предусматривалось последующее законодательное определение того, «каким образом сии земли поступят из общественного в частное владение каждого из поселян и на каких правилах будет основан сей раздел общественной земли между ими» (35, 1, 303). Следовательно, общественное землепользование было для Муравьева временной формой и за основу аграрной политики он брал частновладельческий принцип. Это означает, что он действительно ставил задачу полной и всесторонней реализации буржуазных общественно-экономических отношений на русской почве.

Мог ли препятствовать развитию таких отношений проект Пестеля? Конечно, нет. Как мы видели, предлагаемые Пестелем меры приведут, как он считал, к тому, что с увеличением народонаселения общественных земель окажется недостаточно для того, чтобы «отдавать в одни руки много участков», и тем самым «получит приобретение земель в частную собственность сильное поощрение» (35, 2, 140). В исторической перспективе проект Пестеля способствовал восстановлению частного землевладения как определяющего начала экономической жизни, т. е. ориентировал на развитие в России земледельческого капитализма. Поэтому, несмотря на различные субъективные стремления

Муравьева и Пестеля, проекты того и другого совпадали по своим объективным-результатам.

Однако идея Пестеля о возможности предохранить Россию при помощи общинного землевладения от буржуазно-капиталистического развития оставила след в истории русской социологии; она оказала влияние и на позднейшие теоретические искания декабристов в период сибирской ссылки, в частности на происхождение концепции «русского социализма», разработанной в конце 40-х годов М. А. Фонвизиним. Не случайно поэтому Герцен, сам испытывавший определенное воздействие социологической теории вождя декабристов, считал, что Пестель «был социалистом прежде, чем появился социализм» (25, 445).

Эта книга посвящена анализу социально-политических и философских воззрений М. А. Фонвизина, которому главным образом принадлежит заслуга в развитии пестелевской республиканско-демократической традиции в направлении революционно-демократической идеологии 50—60-х годов XIX в.

ЭТАПЫ ЖИЗНИ

«Все самое благородное среди русской молодежи, — писал Герцен о декабристах, — молодые военные, как Пестель, Фонвизин, Нарышкин, Юшневский, Муравьев, Орлов, самые любимые литераторы, как Рылеев и Бестужев, потомки самых главных родов, как князь Оболенский, Трубецкой, Одоевский, Волконский, граф Чернышев, — поспешили вступить в ряды этой первой фаланги русского освобождения» (25, 440—441).

Ко времени вступления в тайное общество декабристов Михаил Александрович Фонвизин (1788—1854) был человеком зрелым и занимал прочное общественное положение. Герой Отечественной войны 1812 г., командир егерского полка, он пользовался широкой известностью в армии как талантливый и высокообразованный офицер кутузовской закалки.

Фонвизин происходил из древнего германского рыцарского рода. Предкам его принадлежали даже кое-какие города в немецких землях. Один из них, рыцарь Ливонского ордена меченосцев барон Петр фон Висин, попал в русский плен в царствование Ивана Грозного и поселился в России. Его сын Денис отличился в период осады Москвы польским королем Вла-

диславом: он, говорится в старинной грамоте, «против немецких людей и черкас стоял крепко и мужественно, и на боях, и на приступех бился и ни на какие королевичевы прелести не прельстился» (66, 7). Дед Фонвизина, Иван Андреевич, отец знаменитого автора «Недоросля», состоял на военной службе, но потом перешел на штатскую должность и дослужился до чина коллежского советника. Денис Иванович Фонвизин в своем «Чистосердечном признании» сообщает о нем, что был он «человек большого здравого рассудка, но не имел случая, по тогдашнему образу воспитания, просветить себя ученьем» (там же, 227). Однако от него Денис Иванович унаследовал страсть к «политическим наукам», которую он старался внушить и своему племяннику, занимаясь его первоначальным образованием. Не удивительно, что именно его трактат «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления» стал для будущего декабриста первым политическим сочинением, утвердившим в нем «свободный образ мыслей».

Учился Фонвизин в немецком Петровском училище в Петербурге и в Московском университетском пансионе. Декабрист В. Ф. Раевский, вспоминая об этом пансионе, писал, что он готовил «юношей, которые развивали новые понятия, высокие идеи о своем отечестве, понимали свое унижение, угнетение народное» (56, 86). Фонвизину, впрочем, окончить пансион не удалось: в семейных интересах (дело касалось права на наследование богатых имений) его на тринадцатом году определили в гвардейский Измайловский полк, где он продолжал усиленно заниматься самообразованием. К семнадцати

годам он основательно изучил сочинения Руссо, Рейналя, Монтескье, хорошо разбирался в древней и новейшей истории, которой занимался «с особенною охотою» (см. 12, 385).

Став кадровым военным, Фонвизин вскоре попал в водоворот грандиозных событий 1805—1814 гг. Карьера его продвигалась успешно. За участие в кампании 1805 г. и отличие в битве под Аустерлицем он получил первый офицерский чин. В 1812 г. он был уже полковником и состоял личным адъютантом начальника штаба русской армии генерала А. П. Ермолова, которого Пушкин назвал «самым замечательным из наших государственных людей». Фонвизин участвовал почти во всех крупных сражениях Отечественной войны 1812 г. и дважды ходил в заграничные походы. В 1814 г., находясь в авангарде, он был захвачен французами и шесть недель провел в плену в одном из городов Бретани.

Император Александр I, узнав о пленении Фонвизина, предлагал Наполеону обменять его, но тот не согласился. «Освобождением моим,— писал Фонвизин позднее родителям,— обязан я счастливому обороту дел, которым Бонапарт свергнут с престола» (17, 242). Поняв, что дело Наполеона проиграно, он собрал военнопленных, поднял восстание и, захватив арсенал и обезоружив французские караулы, завладел городом. Александру I оказалась не по душе такая самостоятельность Фонвизина; это послужило причиной задержки присвоения ему звания генерала, которое он получил только в 1819 г.

Военные события оказали огромное влияние на формирование радикальных убеждений Фон-

визина. «Двукратное пребывание за границей,— отмечал он в показаниях,— открыло мне много идей политических, о которых прежде не слыхивал.— Возвратясь в Россию, в свободное время от службы продолжал я заниматься политическими сочинениями разного рода и иностранными газетами и в это время, читая разные теории политические, дерзал в мечтаниях моих желать принорвления оных к России» (12, 385—386).

Но Фонвизин не просто мечтал о «принорвлении» к России западноевропейских политических теорий. Как только он в 1815 г. вернулся из Франции, где, командуя полком, оставался в составе войск оккупационного корпуса, он начал активно искать единомышленников. Интересный эпизод из этой поры его жизни сообщает И. Д. Якушкин, близкий друг Фонвизина. «В разговорах наших,— пишет он,— мы соглашались, что для того, чтобы противодействовать всему злу, тяготевшему над Россией, необходимо было прежде всего противодействовать староверству закоснелого дворянства и иметь возможность действовать на мнение молодежи; что для этого лучшим средством — учредить Тайное Общество, в котором каждый член, зная, что он не один, и излагая свое мнение перед другими, мог бы действовать с большею уверенностью и решимостью. Наконец, Фонвизин сказал мне, что если бы такое общество существовало, состоя только из 5 человек, то он тотчас бы вступил в него. При этом я не мог воздержаться, чтобы не доверить ему осуществления Тайного Общества в Петербурге и что я принадлежу к нему. Фонвизин тут же присоединился к нам» (35, 1, 102).

Так Фонвизин становится членом «Союза спасения», а позднее входит в группу радикальных деятелей «Союза благоденствия», ставивших перед собой «сокровенную цель» — освобождение крестьян от крепостного состояния и введение в России представительных учреждений. Для «соединения единомыслящих людей» Фонвизин в 1819 г. организует в Москве отдельную тайную организацию — «Военное общество», которое по своим тактическим и идейно-теоретическим стремлениям стояло на пестелевской платформе. Члены «Военного общества» считали, что петербургская группа Никиты Муравьева, вместо того чтобы заниматься делом, рассуждает больше «о составлении самой заклинательной присяги для вступающих в Союз Благоденствия и о том, как приносить самую присягу, — над Евангелием или над шпагой вступающие должны присягать» (там же, 114).

Фонвизин был также одним из инициаторов созыва московского съезда в 1821 г. На съезде он выступил с проектом новой тайной организации. Основной смысл проекта состоял в установлении трех разрядов членов общества: одного высшего «незнаемых, в виде постоянного главного совета», долженствующего «управлять и составлять законы Обществу», второго, от него зависящего, разряда, «исполнительного», приводящего в исполнение постановления совета и контролирующего путем «объездов и наблюдений» дела тайного общества по разным местам, и, наконец, третьего разряда «нововводимых», коим Фонвизин рекомендовал сообщать «те же цели, что и в Зеленой книге, то есть филантропические» (18, 623).

Таким образом, это был проект создания строго централизованной конспиративной организации. Однако он не был принят. «Большинство, — писал позднее Фонвизин, — не хотело подчиняться полновластной диктатуре одного или нескольких избранных лиц с обязательством полного им повиновения» (8, 90). В этом он видел главнейшую причину поражения декабристского восстания.

В 1822 г. Фонвизин, не желая мириться с аракчеевским режимом в армии, выходит в отставку и переезжает в свое подмосковное имение Крюково. Теперь он целиком включается в работу московской группы «Северного общества». На него поступает донос Александру I, но царь до времени оставляет дело без последствий. Тем не менее участь его по существу была решена. И. Д. Якушкин, рассказывая в «Записках» о встрече Фонвизина с А. П. Ермоловым в Москве, писал: «В 22-м году генерал Ермолов, вызванный с Кавказа начальствовать над отрядом, назначенным против восставших неаполитанцев, прожил некоторое время в Царском Селе и всякий день видался с императором... В Москве, увидев приехавшего к нему М. Фонвизина, который был у него адъютантом, он воскликнул: «Поди сюда, величайший карбонари»... Ермолов прибавил: «Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он (Александр I. — А. З.) вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся» (35, 1, 143).

Фонвизин внял предупреждению своего бывшего начальника: он окончательно поселяется в своем имении и вскоре женится на Наталье Дмитриевне Апухтиной, разделившей с ним

впоследствии долгие годы сибирского изгнания. Она была той удивительной женщиной, с которой «образован» Пушкиным «Татьяны милый идеал...». Прошло около двух лет. Фонвизин много работал, писал политические статьи. Изредка посещал важнейшие совещания тайного общества. Узнав о выступлении декабристов на Сенатской площади Петербурга, он тотчас едет в Москву, где намеревается поднять войска, чтобы парализовать действия лиц, способных противодействовать успеху восстания. Однако неудача в Петербурге сделала ненужным содействие московской группы.

Начались аресты... Фонвизин был арестован 9 января 1826 г. в своем имении на глазах у беременной жены. А через два дня император Николай I написал в письме к брату Константину Павловичу: «Наши аресты идут своим чередом. Ко мне только что привезли сегодня Фон-Визина, личность довольно значительную» (цит. по: 40, 45). Во время следствия Фонвизин вел себя мужественно, как подобает настоящему конспиратору: от него царь не узнал ни одного нового имени, ни одного нового сведения. Верховный уголовный суд признал его виновным в том, что он «умышлял на цареубийство согласием... и участвовал в умысле бунта принятием в Тайное общество членов». Приговор гласил: 15 лет каторжных работ, затем — вечное поселение в Сибири. В 1827 г. срок каторжных работ для него был сокращен до восьми лет.

Выйдя на поселение, Фонвизин добился после долгих хлопот разрешения проживать в Тобольске, куда и переехал с семьей в августе 1838 г. Располагая большими средствами, Фон-

визин жил в достатке, но тягостная бездеятельность, постоянный строгий надзор и невозможность участия в общественной жизни доставляли ему невероятные нравственные страдания. Особенно тяжело было сознавать, что наступила «политическая смерть». Под влиянием мрачных дум Фонвизин решает просить императора о переводе в действующую армию. 14 декабря (!) 1839 г. он обращается с письмом к генерал-губернатору Западной Сибири князю П. Д. Горчакову: «Имея в виду высочайшую Е. И. В-ва милость, — писал Фонвизин, — оказанную некоторым из моих товарищей определением их на службу рядовыми в отдельный Кавказский корпус, и несмотря на мои немолодые лета, чувствуя в себе желание и силы служить и переносить трудности боевой жизни, беру смелость беспокоить Вас моею всепокорнейшею просьбою об исходатайствовании мне той же высочайшей милости: определения меня на службу рядовым в отдельный Кавказский корпус» (58, 69). Император, разумеется, не изъявил своего высочайшего согласия на эту всепокорнейшую просьбу бывшего генерала!

Живя в Тобольске, Фонвизин прилагал немало усилий, чтобы облегчить жизнь ссыльных декабристов. «Михайло Александрович, — писал В. К. Кюхельбекер в письме к С. П. Трубецкому от 12 апреля 1845 г., — и по сию пору сохранил что-то рыцарское» (45, 474). Он и его жена первыми обласкали и приветили петрашевцев, сосланных под надзор «сибирских пашей и сатрапов». «После этого, — писала Наталья Дмитриевна одному своему родственнику, — нам уже невозможно было не принимать живейшего участия во всех этих бедных людях

и не считать их *своими*» (32, 621). Фонвизины использовали все свои связи, чтобы быть полезными «новым конскриптам», и особенно Ф. М. Достоевскому и С. Ф. Дурову. О близости Достоевского с семьей декабриста свидетельствует уже тот факт, что именно Наталья Дмитриевне он написал в 1854 г. из Омска знаменитое письмо, где раскрывал собственный «символ веры» и поверял сокровенные убеждения.

В Тобольске Фонвизин много и плодотворно занимался научными исследованиями и переводами. Он выписывал русские и иностранные газеты, журналы и книги, был прекрасно осведомлен о политических событиях в России и на Западе. Из чтения и размышлений по поводу этих событий рождались статьи и исторические очерки. «Когда меня занимает какой-нибудь вопрос, политический или философский, — писал он Оболенскому, — то, чтобы уяснить его себе, я изложу его письменно, после же обыкновенно бросаю в печь мои замечания» (цит. по: 62, 307).

Однако некоторые сочинения Фонвизина сохранились: он иногда отдавал их переписывать и затем копии дарил друзьям и знакомым. Исследователь фонвизинского рукописного наследия Б. Е. Сыроечковский отмечает: сибирские статьи декабриста распадаются на три группы. Первая относится к 1841—1842 гг. и посвящена крестьянскому вопросу. Вторую группу составляют статьи 1848—1851 гг.; эти статьи носят преимущественно теоретический характер. Главной их темой является рабочее движение на Западе. В третью группу входят статьи 1851—1853 гг., в которых Фонвизин ставит

вопросы политического значения: об исторических формах борьбы с самодержавием и тактике будущей революции, о соотношении русской крестьянской общины и западноевропейского утопического социализма. Эту классификацию необходимо дополнить еще одной группой — сочинениями историко-философского и религиоведческого содержания, написанными Фонвизиним во второй половине 40-х годов. Кроме того, сохранилась статья 1823 г., представляющая исключительный интерес для характеристики социально-политических взглядов Фонвизина накануне декабрьского восстания.

Ни одно из этих сочинений при жизни автора напечатано не было. Лишь в 1859 г. благодаря заботам И. И. Пущина и других декабристов в Лейпциге появилось первое издание его «Обозрения проявлений политической жизни в России». Через два года «Обозрение...» было перепечатано в Лондоне во второй книге герценовского «Исторического сборника Вольной русской типографии» (см. 70, 157).

В России попытку опубликовать сочинение Фонвизина предпринял в 1884 г. историк В. И. Семевский в журнале «Русская старина». Однако цензура пропустила лишь отдельные фрагменты; набор был рассыпан, ибо, как отметил Семевский на полях верстки, министр внутренних дел «граф Д. А. Толстой объяснил, что печатать неудобно». Семевскому принадлежит также первое биографическое исследование о самом декабристе.

Умер Михаил Александрович Фонвизин 30 апреля 1854 г. в своем подмосковном имении Марьино через одиннадцать месяцев после возвращения из сибирской ссылки.

ПРОТИВ ТИРАНСТВА И СУЕВЕРИЯ

Первая половина XIX в. — время интенсивного развития русской социологической и философской мысли, появления новых идеологических течений, зарождения и формирования революционно-демократической идеологии. Россия переживала эпоху буржуазной ломки феодально-крепостнических учреждений; рушились старые схоластические нормы мышления и церковные моральные устои, разбивались святоотеческие авторитеты и правовые предписания. Зарождалась новая жизнь, складывались новые традиции, новые общественные идеалы и стремления. Декабризм был их первым теоретическим выражением и первым же практическим опытом их реализации. Он отразил в себе самые противоречивые идейные тенденции, сложившиеся в русском общественном движении 20—40-х годов XIX в.

Как известно, среди декабристов были и «ярые материалисты», отвергавшие всякую религию, всякий идеализм, и последователи немецкой философии, признававшие Канта и Шеллинга своими духовными кумирами, и «скромные скептики», одинаково неудовлетворенные и

атеизмом, и мистикой. Были среди них и «люди с христианскими убеждениями, также хорошо знакомые со всеми источниками материалистического характера, обладавшие и философским знанием, и знанием истории, как церковной, так и светской» (35, 3, 121).

К последней группе, составившей в Сибири во главе с П. С. Бобрищевым-Пушкиным так называемую конгрегацию, обыкновенно причисляют и М. А. Фонвизина. Однако едва ли это правильно. Хотя он и был человеком верующим, нельзя на этом основании отождествлять его философско-религиозные взгляды с воззрениями членов «конгрегации» — Басаргина, Беляева, Завалишина, Оболенского и др. Для них христианская религия служила «последним утешением в житейских скорбях», в ней они искали «духовное» и «таинственное», отвергая «мечты о земном счастье» и «прославляя силу Божию». «Главное, — писал Бобрищев-Пушкин в письме к Оболенскому, — ухватись, любезный друг, за одно — за безусловную преданность богу... Кто не становил на краю гибели, тот еще не знает о безусловной преданности богу». «Если есть между тобою и мною связь и дружба, — убеждал он его в другом письме, — то она основана на одном только единении нашем в вере во Христа Спасителя нашего и бога... Вообще можно только сказать о всех бедствиях человеческих, что, ежели бы не было гордости в людях, не было бы и бедствий, не было бы грехов» (22, 160, 162, 165—165 об.).

Такой мистицизм Фонвизину был чужд. Он видел в христианской религии прежде всего моральное учение, заключающее в себе общечеловеческие идеалы социального равенства и сво-

боды. «Напрасно иные порицают христианскую религию, — писал он в 1823 г., — будто она поддерживает самовластие и потакает оному; стоит развернуть Ветхий завет, чтобы удостовериться в противном мнении: именно Книгу царств... Следовательно, бог благоприятствует более народному или республиканскому правлению, нежели самовластному или деспотическому, в чем можно удостовериться и другими текстами Ветхого и Нового завета...» (10, 383). Это убеждение Фонвизин сохранил до конца жизни: «...Форма республиканская... — доказывал он в письме к Оболенскому от 15 мая 1851 г., — наиболее соответствует христианскому обществу» (15, 200).

Хотя текст Библии не дает повода для столь категорического утверждения, оно тем не менее не лишено основания: христианское вероучение неоднородно по своему идеологическому содержанию. Противоречивый характер его догматов и законоположений объясняется спецификой исторического развития этой религии, в конечном счете тем, что христианство, возникнув в среде рабов, свободной бедноты и покоренных Римом народов, впоследствии став идеологией господствующих классов, решительно порвало на Никейском соборе (325 г.) с предшествующей традицией, проникнутой «демократически-революционным духом» (см. 7, 43).

Апологеты христианства постоянно стремились дать этим противоречиям выгодное для себя толкование, более того, использовать их для обоснования собственной теологической концепции. Например, Стефан Яворский, видный русский богослов эпохи Петра I, утверждал: «несогласия» в священном писании имеют божествен-

ное происхождение, ибо отражают двойственную природу самого Христа, который в одних случаях говорил «по божеству», а в других — «по человечеству». Если бы писание, отмечал он, было ясно и доступно, то оно «в малой чести и оценении было бы» (см. 71, 716—720).

В то же время эти противоречия служили в средние века идеологическим обоснованием классовых позиций крестьян и городских низов, поэтому тогда все восстания, массовые движения «неизбежно выступали под религиозной оболочкой, в форме борьбы за восстановление первоначального христианства...» (3, 468). И в России антифеодальные движения со времени московской централизации проходили под лозунгом «возобновления» христианской «истины».

В русле данной исторической традиции многие декабристы также выражали свои революционные устремления на языке религиозной морали. Примечательна в этом смысле «Русская правда» Пестеля. Обсуждая в ней вопрос о правах и обязанностях человека, он писал: первоначальная обязанность человека состоит в сохранении личного бытия. Это подтверждается не только «естественным разумом», но и «словами евангельскими, заключающими весь закон христианский: люби бога и люби ближнего, как самого себя, — словами, вмещающими и любовь к самому себе как необходимое условие природы человеческой, закон естественный, следовательно, обязанность нашу» (35, 2, 78).

Пестель, как видим, переосмысливал евангельское положение таким образом, что оно превращалось у него в требование любить самого себя, в требование, на котором он основывал естественную обязанность каждого заботиться о

сохранении собственного индивидуального бытия. Отсюда он выводил и право человека на действия и поступки, направленные на пресечение правительственных злодеяний и тиранства. Целью государственного правления, писал он, должно быть «возможное благоденствие всех и каждого», а это достижимо при том лишь условии, если постановления государственные пребывают в «таком же согласии с неизменными законами природы, как и со святыми законами веры» (там же, 79).

Предлагая в сущности еретическую интерпретацию евангельского предписания, Пестель тем самым принципиально расходился с официальным церковным богословием. Его религиозно-социальные обобщения всецело выдержаны в духе теории естественного права и просветительского сциентизма и носят последовательный антимонархический и антицерковный характер.

К христианству обращались многие декабристы, когда обсуждали социальные и идеологические проблемы. При этом они, подобно Пестелю, отделяли в священном писании то, что, по их мнению, было истиной, от того, что они квалифицировали как исторические суеверия и предрассудки. Другими словами, они отвергали те библейские положения и догматы, которые не соответствовали их собственным воззрениям и служили оправданию самодержавного деспотизма и церковной ортодоксии.

Разумеется, сказанное не следует понимать так, что идеологи декабризма черпали революционные идеи в христианстве. Их воззрения в первую очередь были обусловлены самой эпохой «быстрой ломки переживших себя феодально-абсолютистских учреждений» (6, 143). Их взгля-

ды, как уже говорилось, формировались под влиянием демократических, революционных идей, распространенных на Западе, и под воздействием прогрессивного общественного мнения в России. Дворянские революционеры шли вслед за Радищевым — гениальным провозвестником антикрепостнических и антимонархических идей. И если они использовали терминологию священного писания, то лишь формально, исключительно для популяризации своих политических устремлений. Например, составитель остроумного «Православного катехизиса» С. И. Муравьев-Апостол на вопрос: «Что значит веровать в бога?» — давал оригинальный ответ: «Бог наш Иисус Христос, сошедши на землю для спасения нас, оставил нам святое евангелие. Веровать в бога — значит следовать во всем истинному смыслу начертанных в нем законов». А истинный смысл этих законов, по мнению декабриста, несовместим с тиранством царей, кои «прокляты суть от него (бога. — А. Э.), яко притеснители народа» (35, 2, 191; 192).

Член «Общества соединенных славян» И. И. Горбачевский, возражая Муравьеву-Апостолу, говорил о бессмысленности революционной агитации русского народа «языком духовных особ». «...Ежели, — указывал он, — ему начнут доказывать Ветхим Заветом, что не надобно царя, то, с другой стороны, ему с малолетства твердят и будут доказывать Новым Заветом, что идти против царя — значит идти против бога и религии...» (35, 3, 46), то чему он должен верить?

Горбачевский, конечно, был прав: христианство вследствие неоднородности, противоречивости своей социальной доктрины могло поощрять

и поощряло цели, взаимно исключаящие друг друга. Однако этим вовсе не умаляется революционное звучание катехизиса Муравьева-Апостола, который, подобно Пестелю, опираясь на священное писание, проповедовал противное тому, что преподносили русскому народу в качестве боговдохновенной истины церковнослужители. Горбачевский не принимал в расчет и того, что народ в тот период хотя и не отличался особой религиозностью, но из-за всеобщего засилья церковной идеологии даже свое вольнодумство довольно часто выражал в религиозных терминах.

Данное обстоятельство и учитывали прежде всего Пестель и его последователи: они ориентировались главным образом на глубоко укоренившееся в народе еретическо-раскольническое, язычески-двоеверное понимание христианских догматов и законоположений. А. И. Герцен заметил по этому поводу, что «доселе с народом можно говорить только через священное писание...» (28, 161). Он писал: «Именно Пестель первый задумал привлечь народ к участию в революции. Он соглашался с друзьями, что восстание не может иметь успеха без поддержки армии, но во что бы то ни стало хотел также увлечь за собой раскольников...» (25, 445). Ниже мы подробно рассмотрим, как решали декабристы проблему революции; пока заметим только, что участие народа в революции было ими в конечном счете отвергнуто.

Таковыми же политическими мотивами руководствовался в своем отношении к христианской религии и Фонвизин. Он выделял в ней исключительно то, что представлялось ему безусловной моральной истиной, и решительно отвергал

ее обрядовые и догматические установления, считая их историческими «предубеждениями», возникшими в процессе сознательного и явного приспособления церкви к деспотизму светской власти.

В «Заметках» на руководства по догматическому богословию архимандритов Макария и Антония он прямо писал: «Авторы сознательно погрешили против истины, увлекаясь предубеждениями, которых не избегло ни одно христианское вероисповедание» (16, л. 21 об.). В частности, отмечал он, «вопреки свидетельству церковной истории наши богословы селятся доказывать, что чествование икон и впоследствии поклонение им (*iconolatric*) были в первоначальной церкви. Возводя этот обычай к временам апостольским, они даже признают св. Луку первым иконописцем. Но об этом не только нигде не упоминается в Новом завете, так же как и об иконах, а, напротив, слишком достоверно, что даже во времена императора Константина Великого в христианских храмах не было ни живописных, ни изваянных изображений или икон: они стали постепенно вводиться двумя столетиями позднее» (там же, л. 27).

К числу подобных богословских «погрешностей» Фонвизин относил также принципиальный католический догмат, провозглашающий «одну свою церковь истинною, вселенскою; все же прочие раскольническими». Римским католикам, указывал он, «подражают и наши богословы: и они, называя греко-восточную церковь единою, вселенскою и толкуя не о разделении церквей, а об отпадении от нее римско-католической, утверждают, что только в ее недрах можно спастись» (там же, л. 23 об.). Такое ограничение

вселенской церкви «географическими пределами», писал Фонвизин, есть суеверие, ибо название вселенской «по праву принадлежит» только «церкви, высшей, невидимой, внутренней» (там же, л. 24 об.).

Существует мнение, что идею «внутренней церкви» Фонвизин заимствовал от масонов. Так оно, возможно, и было. Но тут необходимо отметить одно важное обстоятельство: воззрения масонов на сущность внутренней церкви не заключали в себе ничего противощерковного. Напротив, они признавали «внешнюю», официальную церковь своеобразной школой, научающей «правильнейшему и действительнейшему устройению духовных упражнений внутреннего богослужения». Один из виднейших адептов русского масонства, И. В. Лопухин, развивая эту мысль, подчеркивал: «Отправления внешней религии, будучи средством ко внутреннему истинному христианству, могут быть приготовлением и к истинному свободному каменщичеству, так как оное есть лествица к высочайшей мудрости сокровенной» (47, л. 12).

Фонвизин трактовал учение о внутренней церкви в смысле отрицания официальной церковности вообще. Он принадлежал к тем декабристам, которые ясно видели в этом учении, по свидетельству масона графа Виельгорского, «узду деспотическому правлению» (см. 51, 339). Если масоны призывали к уединенным молитвам и непрестанной борьбе со своими страстями, то Фонвизин, связав учение о внутренней церкви с отрицанием так называемой территориальной системы реформации (географического разделения христианских церквей), упрочивавшей главенствующую роль светского государя

в церковной администрации, придал ему революционную, антимонархическую направленность.

Блестящим образом разящей философско-религиозной критики деспотизма является статья Фонвизина «О повиновении вышней власти, и какой власти должно повиноваться» (1823). В ней он резко разоблачает попытки самодержавных правительств оправдать свое существование авторитетом священного писания, в частности ссылкой на положение апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от бога; существующие же власти от бога установлены» (Рим., 13, 1). «Вот, — восклицает Фонвизин, — меч обоюдоострый, который попеременно обращаем был то гражданским, то духовным деспотизмом в невежественных веках к обаянию суеверных народов, не знающих, какой власти им должно повиноваться, пока не будет о том возглашено на кафедре. Ныне лезвее сего меча хотя притупилось в просвещенных европейских государствах, но привычка к изречению, освященному религиозными понятиями, не имеющими никакой ясности, продолжает, ко вреду прочного утверждения благосостояния народов, смешивать сии начала с ложными, подкрепляя произвольно всякие притязания текстом св. писания: *повинуйтесь властям*» (31, 484).

Фонвизин ставил вопрос: каким властям необходимо повиноваться, законным или вообще всем существующим? Если допустить, что признавать должно любую существующую власть, то, считал он, «выйдет хаос безначалия и совершенное истребление всякой власти», ибо честолюбивые искатели престолов получают в этом случае право «похищенное силою оружия утвердить

за собою силою предрассудка». Поэтому он объявлял такое толкование евангельского принципа «удаленным от истины» и доказывал, что его могут проповедовать «одни хищники, а с ними суеверы и фанатики». По мнению Фонвизина, апостол Павел предписывал повиновение только законной власти и по этой причине «всякая самостоятельная нация имеет неоспоримое право избирать приличную форму правления, перемениать законы и составлять новые» (там же, 490). Что касается самовластных, деспотических правительств, то о них Фонвизин предпочитает не говорить, а предоставить их «вразумлению опытов, побеждающих силу оружия и силу предрассудков» (10, 382).

Таким образом, Фонвизин интерпретировал евангельский текст в смысле законности, необходимости революций («вразумляющих опытов» Западной Европы, на которые он и ссылался в статье) для уничтожения мрачных вертепов суеверия и тиранства и утверждения народных, республиканских правлений.

Эти рассуждения Фонвизина любопытны и в другом отношении — близостью к высказываниям Дениса Ивановича Фонвизина, содержащимся в трактате «Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой формы государственного правления». Требуя введения в России законно-свободных учреждений, которые, ограничив произвол верховной власти, укрепляли бы государство, Д. И. Фонвизин провозглашал, что подданные имеют право низвергнуть существующую власть, если она не заботится о народном благоденствии. «...Всякая власть, — писал он, — не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая

обиды, насильства, тиранства, есть власть не от бога, но от людей, коих несчастья времен пустили, уступая силе, унижить человеческое свое достоинство. В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает. Тут дело ясное. Или она теперь вправе возвратить свою свободу, или никто не был вправе отнимать у ней свободы». Этот радикальный вывод Д. И. Фонвизин обосновывал еще тем, что деспотизм восторжествовал в недавние времена и что первоначально власть была в руках самой нации. Следовательно, заключал он, нация «без государя существовать может» (65, 180—181).

Многие декабристы, например Батеньков, Н. Муравьев, Раевский, Рылеев, опирались на «Рассуждение...» Д. И. Фонвизина в борьбе с деспотическим правлением. М. Фонвизин в статье 1823 г. также развивал идеи великого сатирика, придавал им более четкое революционное звучание, направляя разящее жало критики против церковного суеверия и российского самодержавия.

Однако, несмотря на резкую критику церковно-деспотических обрядовых и догматических установлений, Фонвизин, как было сказано, не отвергал христианское вероучение вообще. Он признавал, что только первоначальная христианская «истина» указывает человеку путь к достижению политического и морального блага. Это заключение является на первый взгляд чисто просветительским. Но Фонвизин отнюдь не был просветителем. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить его суждения о первоначальном христианстве с суждениями М. Ф. Ор-

лова, который, признав «дух начального христианства» вполне «сходствующим с образованностью Запада нынешних времен», видел условие коренного преобразования России исключительно в распространении западного просвещения (см. 52, 45, 134—142). Фонвизин, напротив, решительно выступал против отождествления раннехристианского учения с новейшим просвещением Запада, так как усматривал полное выражение этого просвещения в системе Гегеля, которую относил к разряду «суеверных» доктрин, оправдывающих всякую существующую власть. «В политике, — писал он, — Гегель был в высшей степени консерватор, поборник монархического начала и противник народодержавия... всех республиканских теорий и государственных переворотов... Гегель был ревностным защитником всего в политическом мире существующего, и на это метит его известная философская формула: ...все разумное — реально, существенно, действительно, и, наоборот, все действительное, реальное — разумно» (9, 366).

По мнению Фонвизина, консерватизм Гегеля получил наиболее откровенное выражение в его философии истории. Согласно учению немецкого мыслителя, все исторические народы, выполняющие волю мирового духа, суть только ступени, по которым он, субстанционализируясь и достигая конкретности, совершает свое восхождение. Таких ступеней Гегель насчитывал четыре: первая — мир восточный, или теократические царства, второй — мир греческий, третий — мир римский, четвертый — мир христианский, или собственно германский. На Востоке, полагал он, человек еще не осознал собственную индивидуальность, свобода не составляет его сущ-

ность, поэтому здесь все — рабы. В Греции личность постепенно освобождалась от рабства; там наряду с рабством существовала и гражданская свобода. Это послужило впоследствии причиной всеобщего развращения нравов в римском мире. Лишь в христианско-германском мире, утверждал Гегель, все достигают нравственного осознания собственной духовной сущности, и поэтому здесь все свободны.

«Но кто же он — этот Weltgeist? — спрашивал Фонвизин. — Существо ли, имеющее личность, или только мировая идея, которая развивается в истории? — Это не бог уже потому, что постепенное совершенствование — достижение конкретности мировым духом — противно понятию о боге, существе безначальном, бесконечном и всесовершенном. Если Гегелев Weltgeist есть идея об абсолютном (о божестве), постепенно развивающаяся в истории, то и это воззрение противоречит свидетельству истории. Первая ступень восхождения мирового духа, когда он не имел еще полного сознания и не достиг конкретности, есть, по Гегелю, мир восточных с его теократическими царствами. А именно, в одном из них — в израильском — идея об абсолютном была чистейшею, ведение о боге сознательное и совершенное, как дарованное чрез откровение, без которого человек никогда бы и не познал бога» (там же, 365).

Итак, Фонвизин критикует Гегеля, во-первых, за оправдание монархической власти, признание ее необходимой ступенью в развитии мирового духа, во-вторых, за отрицание абсолютности, «чистоты» нравственного учения первоначального христианства и, в-третьих, за попытку представить нравственность как развиваю-

щуюся систему и видеть в новейшем христианстве воплощение идеи высшей и всеобщей свободы и «гуманности». Но это не все. Фонвизина не удовлетворяла схема Гегеля еще и потому, что она совершенно игнорировала славянский мир. «Гегель, — иронизировал он, — не считает 80 миллионов славян народом историческим, может быть в уме своем предназначая им быть пятою ступенью для восхождения мирового духа» (там же).

Необходимо отметить, что негативное отношение Фонвизина к философии истории Гегеля не было единичным явлением в истории русской политической мысли 40—60-х годов XIX в. О ней отрицательно отзывались и Герцен, и Добролюбов, и Антонович, и Лавров. Чернышевский видел в ней «идеологическую язву», а Писарев считал даже, что сам Гегель не стал бы в России гегельянцем, потому что «только узкие и вялые умы живут в области преданий тогда, когда можно выйти в область действительно живых идей и интересов» (цит. по: 23, 187). Поэтому гегельянство расценивалось ими как консервативное учение, заражающее людей реакционными политическими убеждениями. Такой же вывод о философии истории Гегеля характерен и для Фонвизина.

Фонвизин искал оснований для правильных практических действий не в «позитивной науке», а в идеях первоначального христианства. Он полагал, что церковь вкупе с «суеверной» философией отклонилась от «истины» и, внушая людям ложные идеологические и моральные принципы, исказили первоначальные христианские понятия о земном назначении человека. Восстановление этой «истины» есть дело «здравой»

критической философии, начало которой, по его мнению, положил Кант. Учению Канта, писал Фонвизин, «не противоречит и учение Христово, ибо во всей Европе что́ другое, как не это благодатное учение, уничтожило крепостное состояние, только в одной нашей России оно не произвело этих возжеленных последствий — да, кажется, в Византии до ее падения оставались рабы...» (15, 200).

Как же представлял себе Фонвизин «здравую» философию?

Философия, на его взгляд, является «высочайшей наукой», она сообщает другим наукам «свои начала». Все, что есть «высшего» в других науках, «условливается» тем высшим, которое «сознается» только философией и благодаря которому философ «усматривает предмет мира». Ни частное, ни особенное не входит в сферу философии. Она объемлет все научные законы «в их происхождении» и вследствие этого может быть названа «наукой наук». Поэтому основательное изучение философии должно предшествовать изучению всякой другой науки.

Но потребность в философии, считал Фонвизин, вызывается не только научно-практическими целями, она проистекает прежде всего из человеческого стремления постичь «чисто гуманное» — то, что «возносится над опытом и что определяется идеей». Это «гуманное» и есть, собственно, мудрость — «высший плод философии». Философия не только дает знание; она «объемлет и знание, и действие (нравственные поступки), и в ней видим [то], что последнее определяется чрез высшее ведение, которое и полагает для него прочное основание: становится действием» (9, 286).

Таким образом, Фонвизин полагал, что философия есть одновременно и целостное, всеобщее знание о материально-объективном мире, и нравственная система, основывающаяся на том «высшем», которое постигается только через «высшее ведение», т. е. посредством интуиции, возвышающейся над человеческим опытом и исключающей всякое эмпирическое содержание. Это «высшее» суть не что иное, как богооткровенная цель мира природного и нравственного, и философия, давая «здоровое» понятие об этой цели, может тем самым «приготовить сердечную почву к принятию семян веры, возбудив в человеке желание самопознания и предоставив ему идеал того, что он быть должен» (там же, 287—288).

Итак, философия, по Фонвизину, имеет два аспекта: «положительный», т. е. определенное научное содержание, и этический. Он строго различал эти два аспекта, так как отрицал возможность обосновать нравственность на научных принципах. Наука, по его мнению, имеет дело исключительно с «вещами», бытие которых временно и относительно; поэтому и знание не может быть безусловным, абсолютным. Мораль же исследует «важнейшие вопросы человеческого бытия»: о свободе человеческой воли и происхождении зла, о человеке и его назначении, о цели соединения людей в гражданские общества и т. д. А эти вопросы не связаны с обыденным человеческим опытом и находятся вне компетенции науки. Они с рождения присущи «нашему внутреннему чувству», и их восприятие «есть дар благодати — вера», которая бывает истинной лишь тогда, когда человек перестает быть «вещью» (см. 15, 200). Нетрудно видеть,

что «здравая» философия Фонвизина в своих основных очертаниях совпадает с этическим учением Канта, которого он признавал наравне с Сократом величайшим мыслителем человечества.

«Человек не должен уподоблять себя вещи», — цитирует Фонвизин Канта. Но что значит перестать быть вещью? Прежде всего, считал Кант, значит стать свободным! «Я сознаюсь, — писал он, — что не могу согласиться с одним мнением, которого придерживаются подчас и очень умные люди. Мнение это сводится к тому, что определенный народ (в данный момент стремящийся к законной свободе), что этот народ не созрел еще до свободы, что не созрели еще до свободы принадлежащие помещику крепостные и что все, вообще, люди не доросли еще до религиозной свободы. Но дело в том, что при таком допущении свободе никогда не наступить, ибо нельзя созреть до свободы, не будучи предварительно свободным: необходимо уже быть свободным для того, чтобы обладать возможностью целесообразно применять свои силы для свободы» (цит. по: 67, 26).

Эта идея свободы как необходимого условия нравственного существования личности лежит в основе этического учения Канта, которое Фонвизин признавал «непротиворечащим» христианской «истине». С точки зрения Канта, мораль не нуждается в каком-либо постороннем принципе и ничего не заимствует из знания о природном и общественном бытии человека; «благодаря чистому практическому разуму она довлеет сама себе» (42, 4, ч. 2, 7). Она не определяется никакой внешней целью, ибо конституирует саму себя в качестве цели и реали-

зуется в свободном долженствовании разумной воли. Нравственное, таким образом, оказывается непосредственным результатом «умопостигаемой» способности чистого разума, который не подчинен времени и эмпирическим условиям. Естественно, что в чистом разуме осуществляется все то, что не обнаруживается «ни в каком эмпирическом ряду», поскольку он не подвергается внешним воздействиям и не претерпевает изменений, хотя самый способ обнаружения его в человеческих действиях неоднозначен и подвержен значительным модификациям.

Кант вместе с тем считал, что именно эта способность чистого разума обнаруживаться в действиях личности свидетельствует о том, что моральное заключено в самом человеке и поэтому в морали человек «подчинен только своему собственному и тем не менее всеобщему законодательству...». Все эмпирическое, материальное, доказывал он, не только ничего не прибавляет к содержанию нравственного закона, но «в высшей степени вредно для чистоты самих нравов...» (там же, ч. 1, 274; 266).

Следовательно, кантовская этика строго индивидуалистична, целиком ориентирована на отдельную свободную личность, на волевое начало конкретного человека. Этим она и привлекала Фонвизина. Она послужила для него главным теоретическим источником различения эмпирического и нравственного, общественного и этического, знания и морали в общей системе «здравой» философии. Принцип автономности морали, провозглашенный Кантом, позволил ему сделать вывод о том, что истинная моральная свобода может быть достигнута человеком лишь путем решительного освобождения «от

всего призрачного и пошлого» (9, 287), господствующего в деспотическом государстве. Фонвизин революционизировал кантовский принцип, придал ему радикально-политический характер, превратил в орудие теоретической критики российской социальной действительности, ее феодально-крепостнических порядков.

Обращение Фонвизина к Канту примечательно тем, что оно, свидетельствуя до некоторой степени о его неудовлетворенности раннехристианской идеологией, было в то же время едва ли не единственным в России опытом применения его этических воззрений в революционных целях. Позднейшее русское кантианство имело преимущественно «охранительный» характер, так как ставило задачей критику марксистской революционной теории с позиций кантовского морального априоризма.

Эволюция философских взглядов Фонвизина не была особенно значительной и всецело протекала в рамках объективного идеализма. Но она отражала серьезные изменения в его социально-политических взглядах, выразившиеся, как увидим позднее, в переходе от критики самодержавного деспотизма к признанию необходимости коренного революционного переустройства всей русской государственной системы.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

Первоначально Фонвизин отнюдь не был сторонником революционного разрешения крестьянской проблемы, так как не связывал уничтожение крепостного права с ликвидацией самодержавия. Он полагал, что крепостное право можно отменить с помощью правительственных реформ, самодержавие же — путем исключительно революционным. Вплоть до 40-х годов он не мог окончательно расстаться с иллюзиями, что царское правительство желает искоренения рабства русских земледельцев и что дворянство безусловно заинтересовано в таком акте. Это мнение Фонвизина совпадало с рассуждением Н. И. Тургенева, который в очерке «О крестьянах» писал: «Можно, не обинуясь, сказать, что многие из помещиков русских не только не боятся мысли о свободе крестьян своих, но, напротив того, приступили бы к святому делу охотно, если бы имели к тому повод и возможность. В сем даже и сомневаться нельзя без обиды для дворянского сословия... Итак, согласимся в том, что одно только правительство может приступить к улучшению жребия крестьян» (35, 1, 220). Немалую роль в поддержа-

нии подобных взглядов Фонвизина сыграли предпринятые правительством Николая I меры по официальному урегулированию крестьянского вопроса.

В 40-е годы толки об упразднении крепостного права беспрестанно волновали русское общество. Николай I, который в беседах со своими приближенными неоднократно высказывался о необходимости «освободить крестьян, чтобы оставить моему сыну империю спокойной» (44, 373), учредил с этой целью в марте 1835 г. секретный комитет «для изыскания средств к улучшению состояния крестьян разных званий». Комитет пришел к заключению, что достигнуть поставленной цели можно только установлением для крестьян «верного и со всею осторожностью размеренного перехода от одной степени на высшую и, так сказать, нечувствительного возведения их от состояния крепостного до состояния свободы в той мере, какую закон справедливости и польза государственная допустить могут» (59, 22).

Комитет далее констатировал, что в России имеется три состояния крестьян: первое — крепостное, в котором крестьяне целиком зависят от помещика и отбывают еженедельную трехдневную барщину на основании манифеста 1797 г.; второе — обязанное; характер крестьянских работ на помещика определялся в этом случае законом, учитывавшим размер земельного участка, выделенного крестьянину его владельцем, и третье — «свободное»; в данном состоянии крестьяне пользовались правом свободного перехода от одного помещика к другому и обрабатывали господскую землю на основании заключенных договоров. К первому и ча-

стично ко второму состоянию были отнесены крестьяне великорусских губерний, а к третьему — сельское население прибалтийского (остзейского) края. Комитет, признав желательным переход крепостных крестьян в состояние обязанных, отмечал вместе с тем, что если «благоразумно» подготовить переход крестьян на третью степень, т. е. сделать их «свободными» и таким образом уравнивать с остзейскими земледельцами, то «исполнится желание правительства и удовлетворится потребность государственная, столь важная для будущего спокойствия и процветания России» (там же, 23).

Эти рекомендации комитета, относящиеся к 1835 г., правительством приняты не были; в числе мотивов, которыми оно руководствовалось при этом, на первом месте стоял аргумент полицейского свойства: опасение выпустить из-под контроля многочисленное крестьянское сословие. Однако потребность в разрешении крестьянской проблемы была настолько острой, что игнорировать ее правительство уже не могло. Николай I вновь повелевает 10 марта 1839 г. учредить новый секретный комитет по крестьянскому вопросу. Влиятельное положение в нем занял министр государственных имуществ граф П. Д. Киселев, который в свое время, будучи начальником штаба второй армии, был дружен со многими декабристами и даже некоторое время состоял в деловой переписке с Пестелем.

При разработке законопроекта Киселев принял за основу указ 1803 г. о свободных землях, так как считал, что данное постановление может «произвести важный в государстве переворот», если конкретно сформулировать

условия освобождения крестьян от крепостного состояния. В составленной им записке «О мерах к усилению действия закона о свободных земледельцах» указывалось на необходимость, во-первых, устройства дворовых людей, во-вторых, наделения крестьян земельными наделами и предоставления им права на движимую собственность и, в-третьих, организации между крепостными крестьянами сельского управления, ограничивающего произвол помещиков. Кроме того, Киселев предлагал законодательно определить права помещика в отношении своих крестьян.

Проект Киселева встретил сильное противодействие в комитете, и провести его в жизнь оказалось невозможным. После длительных дискуссий был разработан новый, совершенно безобидный для помещиков указ, который и был издан 2 апреля 1842 г. В нем говорилось: «Желая в общих видах государственной пользы, чтобы при заключении таковых (утвержденных указом 1803 г. — А. З.) условий принадлежащие помещикам земли, как вотчинная собственность дворянства, охранены были от отчуждения из владения дворянских родов, мы признали за благо... предоставить тем из помещиков, которые сами сего пожелают, заключать с крестьянами своими по взаимному соглашению договоры на таком основании, чтобы, не стесняясь постановлениями о свободных хлебопашцах, помещики сохраняли принадлежащее им полное право вотчинной собственности на землю, со всеми ее угодьями и богатствами, как на поверхности, так и в недрах ее, а крестьяне получали от них участки земель в пользование за установленные повинности» (59, 63).

Таким образом, указ 2 апреля 1842 г. не вносил никаких изменений в положение крепостных крестьян и подтверждал незыблемость помещичьего права на владение землями.

М. А. Фонвизин знал о подготавливаемом законопроекте. 14 апреля 1842 г. он писал И. И. Пущину в Туринск: «Один проезжий из столицы рассказывал, что там с недавнего времени все умы заняты вопросом об уничтожении в России крепостного состояния. Главный виновник этого — Киселев, который умел передать свои убеждения императрице и наследнику, а через них и самому царю. Разумеется, восстала сильная оппозиция, в числе которой главными корифеями — графы Васильчиков и А. Орлов» (цит. по: 62, 310—311).

Фонвизин воспрянул духом. Он решил послать Киселеву письмо с собственными предложениями, надеясь «принести пользу». В осуществлении предполагаемой реформы он не сомневался; залогом тому был для него характер самого Николая I. «Если точно державный убедился в настоятельности меры, — доказывал он Пущину, — то он, по свойственному ему упрямству, конечно, будет употреблять все для приведения ее в исполнение. Это самое мне и подает надежду» (там же, 312). Ликвидация крепостного состояния была «вожделенной» мечтой Фонвизина; одно только это, считал он, продвинет Россию «на целый век вперед». Если Николай I, писал Фонвизин, совершит долгожданное освобождение крестьян, то «я готов признать *compte par avenue* (как бы неизменными место. — А. З.) все проделки и обещать купить царский портрет и поставить в своей комнате» (там же, 311).

В записке, предназначенной для отправки Киселеву и одобренной Пушиным, Фонвизин доказывал, что обращение крепостных крестьян в обязанные может быть достаточным основанием для постепенного искоренения «русского зла» при условии, если владельцы имений позволяют обязанным крестьянам объединяться в большие хозяйственные коллективы с совместной обработкой земли и уравнительным разделением продукта. Помещики, отмечал далее Фонвизин, должны также предоставить этим хозяйствам соответствующие числу «душ» размеры пахотной земли и лугов со всеми необходимыми в хозяйстве строениями и с достаточным числом рогатого скота. «Такое преобразование экономического устройства имений, — писал он, — обещает владельцам умножение доходов, верное их получение и вообще усовершенствование сельского хозяйства. Таким образом введется настоящая система ферм; эти фермы под управлением людей, специально трудящихся для своих выгод, будут постепенно улучшаться в земледелии и в прочих отраслях сельского хозяйства; этим способом оно, наконец, выйдет из того жалкого состояния, в котором до сих пор находится в России» (цит. по: 59, 89).

В этой своей записке Фонвизин предусматривал, как видим, только преобразование экономической жизни крепостного крестьянства и по существу оставлял открытым вопрос об уничтожении крепостного права как политического института. Любопытна и другая существенная деталь, которую необходимо иметь в виду, когда мы позднее будем рассматривать взгляды Фонвизина на русскую земледельческую общи-

ну, а именно отсутствие в записке даже намека на существование общинного крестьянского землевладения и ориентация исключительно на «фермерскую» систему организации сельского хозяйства. И это не случайно: в отличие от Пестеля, Фонвизин вплоть до середины 40-х годов представлял русскую земледельческую общину как социальное учреждение, тождественное древнерусскому городскому вече: обязанность этой общины заключалась в регулировании только правовых взаимоотношений крестьян с помещиками. Поэтому он солидаризировался с Киселевым, когда писал о необходимости укрепления сельских учреждений, которые, «при точной определительности прав и обязанностей крестьян», ограничивали бы произвол помещиков.

Пока Фонвизин изыскивал способ отправки своей записки Киселеву, указ 2 апреля 1842 г. был уже опубликован. Ознакомившись с ним, он признал его совершенно неудовлетворительным, так как этот указ не заключал в себе «распоряжений обязательных, требующих немедленного исполнения». Новый закон, писал Фонвизин, «скорее может быть почитаем мудрым внушением, которым верховная власть желает дать почувствовать дворянству несообразность прав его в отношении к принадлежащим ему крепостным» (цит. по: 59, 85).

Вместе с тем указ 2 апреля 1842 г. заставил Фонвизина критически отнестись к собственной программе преобразования экономического положения крестьян. Внимательно изучив состояние дворянских имений в России, он пришел к заключению, что организация в помещичьих владениях фермерских хозяйств невозможна

практически, ибо большая часть поместий разорена, а их крепостное население заложено в различных банках. Это убедило его в том, что если «крепостных обратить в батраков на отдельные хутора, устроенные по образцу иностранных ферм, то их положение будет тогда не лучше состояния негров в американских плантациях» (11, 112).

Итогом глубокого изучения статистического материала явилась статья «О крепостном состоянии земледельцев в России», в которой Фонвизин изложил свой проект крестьянской реформы. Основная идея его состояла в том, что крепостное право «предосудительно вещественным пользам» и властителей, и подданных. Фонвизин требовал начать немедленное освобождение крестьян с обязательным наделением их землей. «Вопрос об уничтожении в России крепостного состояния, — писал он, — так важен в отношении к настоящему и будущему благоденствию государства, так настоятелен, что для удовлетворительного решения этого вопроса никакие жертвования не должны казаться великими» (там же, 119).

Первым и наиболее очевидным доказательством «неестественности» крепостного состояния крестьян Фонвизин признавал повсеместное падение дворянских доходов с имений. На первый взгляд, отмечал он, сам по себе этот факт ни о чем не говорит: ведь и раньше существовало крепостное право, а доходы помещиков были тем не менее огромными. Но все дело в том, что в прежние времена «доходы с имений вынуждаемы были строгим и нередко бесчеловечным обращением господ с подвластными. Страх наказания был тогда главною действующею

пружиною в домашнем и сельском хозяйстве, в земледельческой и мануфактурной промышленности» (там же, 110). Теперь же, указывал Фонвизин, обстоятельства переменялись: «крепостные начинают понимать возможность другого порядка», страх наказания на них уже не действует, ибо они само положение свое воспринимают как «тягостное ярмо». Если они постигнут еще «тайну силы своей», писал Фонвизин, то «ужасных следствий ожидать должно от внезапного пробуждения этого многочисленного класса...» (там же, 113).

Какие же меры предлагал Фонвизин, чтобы избежать внезапного и насильственного расщепления «запутанного, но не крепкого узла», связывающего крестьян с помещиками? Правительство само обязано, считал он, выкупить всех находящихся в дворянском владении крестьян и дворовых людей с землями, на которых они поселены. Крестьяне, указывал он, не в состоянии внести за себя выкуп, так как в России немного помещичьих имений, где бы они не были разорены и не влачили нищенское существование.

Далее, полагал Фонвизин, правительство должно купить также дворянские имения, которые, приучив помещика «думать, что можно получать доходы с имений без труда и попечения о хозяйстве» (там же, 111), не способствуют тем самым его стремлению к полезной деятельности. Покупка дворянских имений, доказывал он, не потребует значительного капитала, поскольку большая часть их «находится в залоге» в различных ведомственных и частных банках. Правительство может перевести на себя все банковские долги дворян, ликвидиро-

вать эти банки и, учредив один общий государственный банк, возложить на него приобретение и первоначальное управление купленными именьями.

Чтобы дворянство не лишилось полностью своего дохода, Фонвизин рекомендовал производить покупку имений преимущественно на государственные облигации, которые обеспечивали бы помещику ежегодно пятипроцентное вознаграждение. Эти облигации должны быть изъяты из внутреннего обращения и не подлежать дроблению, кроме единственного случая — раздела по наследству. «Главное назначение дворянства в России, — подчеркивал Фонвизин, — есть государственная служба, и в этом отношении те из дворян, которые будут владеть облигациями, могут исключительно посвятить себя службе; будучи обеспечены в своих доходах, они не подвергнутся тем опасениям о собственном состоянии, которые теперь заставляют многих молодых дворян со способностями преждевременно выходить в отставку» (там же, 118—119).

Итак, Фонвизин фактически предлагал план обезземеливания дворянства, превращения его из владельца вотчинными землями во владельца доходными облигациями. Он низводил дворянство до положения служилого сословия, хотя и сохранял за ним некоторые привилегии, в частности те, какими пользовались дворяне, находясь на государственной службе.

Что касается капиталов, необходимых правительству для осуществления плана выкупа дворянских имений, то изыскание их, писал Фонвизин, не представляет трудности: правительство может сократить государственные рас-

ходы и уменьшить многочисленную армию, «которой содержание похищает половину доходов в России» (там же, 119). Он был убежден, что если оставить армию даже вдвое меньше, чем она есть, то это не ослабит военную мощь России и «нисколько не поколеблет могущественного ее влияния на политические дела Европы». В доказательство он ссылался на опыт Отечественной войны 1812 г. «В тот незабвенный год, — писал Фонвизин, — Россия, готовясь вступить в борьбу с неприятелем, располагавшим силами большей части Европы, имела армию числом меньше половины нынешней и в течение двухлетней жестокой войны была в состоянии удвоить ее. Опыты этой войны показали, что войско, составленное из некоторой части старых служивых, перемешанных с рекрутами, предводимое знающими офицерами, столько же способно к успешным военным действиям, как и армия, долго и постоянно в мирное время упражняемая учением и выправкою» (там же, 120).

Этот пример убеждал Фонвизина в «непредосудительности» сокращения численности войск; экономия средств, достигнутая таким образом, представлялась ему достаточной для покупки дворянских имений. Для «усиления» необходимого капитала он предлагал обложить дворянство и другие свободные сословия «общим налогом». Впрочем, отмечал он, правительство, располагающее обильными источниками богатств, которыми природа так щедро наделила Россию, найдет, по всей вероятности, и другие способы получения средств, необходимых на приобретение дворянских имений. Важно осуществить это скорее, чтобы выкупаемые крепостные крестья-

не могли получить в собственное владение земельные участки.

Фонвизин придавал при этом особое значение уравнению «выкупленных» крепостных крестьян с государственными. Поскольку, объяснял он, государственные крестьяне в России имеют право владения землями, принадлежащими не частным лицам, а государству, то и «выкупленные» земледельцы, получив в личную собственность землю от государства, навсегда освободятся от унижительного и бессмысленного рабства. Вместе с тем это одновременно предохранит их от пауперизации, от превращения в «бездомков», пролетариев. «Зло, неизвестное в России, — отмечал Фонвизин, — но которому и она может подвергнуться, если с уничтожением крепостного состояния крестьян они останутся на владельческих землях и будут иметь право свободного перехода». Наконец, Фонвизин считал, что с передачей во владение крестьян государственных земель «откроется возможность повсеместного распространения муниципальных или волостных учреждений, которых древняя самобытность в нашем отечестве так способна принять полное и своеобразное развитие» (там же, 119).

«Если бы в самом исполнении оказались препятствия со стороны дворянства, — заключал Фонвизин, — то они легко могут быть отклонены обещанием правительства издать постановления, ограничивающие злоупотребления власти помещиков, с возложением строгой ответственности на начальников, обязанных наблюдать за исполнением. Такими постановлениями, нисколько не оскорбительными для дворян благомыслящих, устранятся все затруднения и

в дворянском сословии возродится общее желание сбывать с рук крестьян своих на столь выгодных условиях» (там же, 122).

Фонвизин, таким образом, разрабатывал проект, предполагавший выкуп правительством дворянских имений с крестьянами и дворовыми людьми и передачу в собственность последним приобретенных земель. В этом он видел единственный способ разрубить «запутанный узел» крестьянской проблемы, так как все убеждало его в том, что частичное решение этого вопроса лишь озлобляет крестьян и не оказывает никакого действия на дворянское сословие. Именно уверенность в собственной правоте побудила Фонвизина просить И. И. Пущина отправить каким-нибудь тайным способом статью в Петербург для вручения Киселеву. Хотя указ 2 апреля 1842 г. его полностью разочаровал, он тем не менее был склонен думать, что новый закон не есть окончательное решение правительством «главного вопроса» русской жизни, а является лишь попыткой «узнания общественного мнения» (см. 62, 313).

Пущину удалось переправить в Петербург статью Фонвизина через знакомого тобольского прокурора П. Н. Черепанова. Но к Киселеву она не попала. И. А. Набоков, родственник Пущина, взявшийся было выполнить поручение ссыльного декабриста, писал 5 июля 1842 г. в Туринск: «Хлопотал с твоею рукописью... и ничего не вышло» (там же, 314). Впрочем, Фонвизин и сам не верил, что его проект будет поддержан официальными властями. «Кажется, — писал он еще 23 июня Пущину, — бумага наша придет не вовремя и не обратит на себя даже внимания: в столице слишком много ду-

мают об одних физических наслаждениях» (там же, 315).

Проект Фонвизина и в самом деле был слишком радикальным, чтобы его могло принять царское правительство, которое сочло опасным для дворянского сословия даже умеренные рекомендации Киселева. После издания пресловутого закона об обязанных крестьянах оно долго не решалось предпринять какие-либо меры по урегулированию крестьянского вопроса. Лишь после Крымской войны, которая окончательно обнажила всю гнилость феодально-крепостнического строя, правительство вынуждено было вновь вернуться к этой злободневной проблеме. И все началось сызнова. Опять посыпались проекты, повторяющие старые аргументы в пользу освобождения крестьян. Достаточно в этом отношении сослаться на «Записку об освобождении крестьян в России» либерального историка и публициста К. Д. Кавелина, чтобы представить общий характер данных аргументов.

Кавелин доказывал, что крепостное право не только сдерживает экономическое развитие России, но таит в себе огромную политическую опасность: «Народ сильно тяготится крепостною зависимою, и при неблагоприятных обстоятельствах из этого раздражения может вспыхнуть и разгореться пожар, которого последствия трудно предвидеть» (39, 33). Он предлагал проведение крестьянской реформы на следующих основаниях: «1) крепостных следовало бы освободить вполне, совершенно, изпод зависимости от их господ; 2) их надлежало бы освободить не только со всем принадлежащим им имуществом, но и непременно с землею

и 3) освобождение может совершиться во всяком случае не иначе как с вознаграждением владельцев» (там же, 43). Кавелин был против ограничения крестьянского надела минимумом, который необходим для оседлости; он признавал целесообразным сохранение и закрепление за крестьянином надела, находящегося в его действительном пользовании. В противном случае, замечал он, «бывшие крепостные впали бы в крайнюю нищету и обратились в бездомников и бобылей — нечто вроде сельских пролетариев, которых у нас покуда, слава богу, очень мало, или они стали бы толпами выселяться в другие губернии и края империи» (там же, 45). Что касается самого земельного надела, то крестьянин обязан был выкупить его у помещика на собственные средства, правительству же рекомендовалось лишь подготовить общественное мнение к устранению крепостного права.

Ясно, что при таком способе освобождения, когда все материально-финансовые тяготы перекладывались на плечи разоренного крестьянства, ожидать какого-либо продвижения к цели было бессмысленно. И это хорошо понимал еще в начале 40-х годов Фонвизин, проект которого был единственной в дореформенный период попыткой формулирования практических требований самих крестьянских масс.

Неудача с проектом крестьянской реформы заставила Фонвизина серьезно задуматься над вопросом: почему самодержавная власть не освобождает крестьян от крепостной зависимости? Чтобы ответить на него, он обратился к изучению истории закрепощения русского крестьянства. Выводы, к которым он пришел, позволили ему принципиально пересмотреть свое

мнение о возможности официального, правительственного решения крестьянской проблемы.

По мнению Фонвизина, исторические факты доказывают, что в средние века русский народ был «на высшей степени гражданственности» и смело стоял за свои права, когда им «угрожала власть», что повсюду на Руси были «во всей силе» общинные муниципальные учреждения и волости и что крепостного рабства до XVII столетия не существовало в России: «Все русские были вольные люди». «Наши историки, особенно Карамзин, — писал Фонвизин, — скупы на этого рода подробности: говорят о них слегка или вовсе пропускают проявления в России политической свободы и те учреждения, которые ей благоприятствовали. Русские историки, напротив, везде стараются выставлять превосходство самодержавия и восхваляют какую-то блаженную патриархальность, в которой неограниченный монарх, как нежный, чадолюбивый отец, и дышит только одним желанием осчастливить своих подданных» (8, 3).

В действительности, считал Фонвизин, дело обстоит иначе: русский народ был свободен и счастлив лишь до тех пор, пока в России не утвердилось самодержавие. Беспристрастная история свидетельствует, что «в общественном быту славян преобладала стихия демократическая, общинная». Это общинное устройство, основанное «на началах чисто демократических», доказывал Фонвизин, сохранялось на Руси вплоть до московской централизации. Несомненное тому доказательство он усматривал в существовании «вольных общин» — Новгородской, Псковской и Вятской, в которых «славянский элемент развился своеобразно» — вылился в

господство народного веча. «В этих народных державах, — отмечал он, — под сению политической и гражданской свободы основались демократические учреждения, под которыми они (граждане. — А. Э.) были независимы и благоденствовали». Фонвизин считал, что народное вече обладало полнотой законодательной власти, поэтому само избирало всех «общинных начальников»: тысяцких, бояр, посадников, церковных владык и даже князей, бывших только исполнителями его определений (см. 8, 4).

Нет необходимости опровергать эти идиллические выводы о древнерусской политической действительности; их ошибочность очевидна. Важнее констатировать другое: Фонвизин перенес на домосковский период русской истории свой идеал раннехристианской общинной демократии, «обмирщил» таким образом этот идеал, включил в рамки национальной исторической жизни и выдвинул в качестве политического аргумента против российского абсолютизма.

Фонвизин прямо утверждал, что «древняя Русь не знала ни рабства политического, ни рабства гражданского: то и другое привилось к ней постепенно и насильственно, вследствие несчастных обстоятельств» (там же, 3). Первым «несчастливым обстоятельством» он считал возвышение московских князей в период татаро-монгольского ига, возвышение, сопровождавшееся одновременным закрепощением крестьян. По мнению Фонвизина, уже Иван Калита, став по воле ордынского хана собирателем дани «не только со своего малого княжества», но со всей Руси, «собирал с народа гораздо более денег, нежели сколько платил хану, что и было источ-

ником его богатства, доставлявшего ему покровительство в Орде» (там же, 5). Подобным же образом «раболепствовали ханам и покупали их вельмож» его преемники.

В результате этой политики московские князья сумели возвыситься над другими русскими князьями и их стали именовать великими. Они скупали и отнимали силой земли соседних княжеств, благодаря чему значительно расширили собственные владения. Необходимым следствием такого «собирания русских земель» явилось то, что «в их роде постепенно утвердилось единовластие, которое не замедлило превратиться в самовластие». Прежняя общинная свобода сменилась княжеским «произволом, народ больше не собирался на вечеах для рассуждения о делах общественных», не распоряжался «в собственных делах». «Русь сделалась Московским государством, — писал Фонвизин, — Великий князь Иван Васильевич III, соединив под своею державою прочие русские княжества и свергнув иго татарское, был уже государем самовластным. Он и сын его Василий Иванович, покорив оружием Новгород, Псков и Хлынов, уничтожили их общинные права и вольности и увезли в Москву как трофеи колокола, сзывавшие на вече свободных граждан Новгорода и Пскова» (там же, 6). Далее Фонвизин констатировал, что во времена Ивана Грозного самодержавие русских царей достигло апогея и окончательно утвердилось при Петре Великом.

Характеризуя деятельность Петра I, Фонвизин стремился избежать поверхностной односторонности, которая бросается в глаза в оценке Карамзина и славянофилов, видевших в царе

«разрушителя русского и вводителя немецкого» (см. 43, 119). Они отвергали реформы Петра как ненужные и вредные на том основании, что эти реформы якобы нарушили правильное, «мирное» течение русской истории, вывели народ из «благодетельного» терпения и патриархальной покорности.

Действительно, Петр, соглашался Фонвизин, «насильственно» приобщал Россию к европейской цивилизации. Именно с тех пор русские бросились перенимать у Запада нравы, обычаи, роскошь, моды — «словом, подражать Европе во всех внешних формах и проявлениях общественной жизни». Однако, несмотря на «смешные свои стороны», это подражание, признавал Фонвизин, оказало в общем благотворное действие: многое дикое, уродливое, варварское, привнесенное в Россию тиранством Орды, совсем изгладилось, исчезло. «И наше самовластное правительство, — писал он, — под влиянием западных идей невольно увлекается либерализмом, столько противным его натуре. И оно, постоянно перенимая у европейцев и усваивая если не самый дух их государственных учреждений, то внешние формы администрации, многому научилось и далеко опередило массу народа на поприще прогресса и цивилизации; в этом именно и состоит тайна могущества его и всевластия» (13, 105).

Итак, увлечение Петра I иноземным имело и хорошие стороны, резюмировал Фонвизин. Но было ли от того лучше народу, спрашивал он, стал ли народ счастливее, упрочилось ли сколько-нибудь его благосостояние? Нет, считал он, народ остался в прежнем положении, в каком был до Петра; при нем даже усилился

гнет, сделалось более тягостнее и беспросветнее существование крепостных крестьян. «В его время, — указывал Фонвизин, — в некоторых государствах западных крепостное состояние землевладельцев уже не существовало, в других принимались меры для исправления этого зла, которое в России, к несчастью, ввелось с недавнего времени и было во всей силе. Петр не обратил на это внимания и не только ничего не сделал для освобождения крепостных, но, поверстав их с полными кабальными холопами в первую ревизию, он еще усугубил тяготившее их рабство» (8, 13).

Столь же противоестественный, антинародный характер, по его мнению, имела и законодательная деятельность Петра. В деле законодательства, считал Фонвизин, преобразователь России определенно уступал своему отцу — царю Алексею Михайловичу; последний по крайней мере оставил после себя Уложение. Бесчисленные же именные указы Петра, «при отсутствии всякой системы», породили в законодательстве лишь величайшую путаницу, так что для всякой тяжбы стало возможным подобрать по два указа, из которых один повелевал отдать, а другой отнять одну и ту же вещь (см. там же, 13—14).

Фонвизин, таким образом, оценивал деятельность самодержавного правительства Петра I в истории русского государства не на основании тех мероприятий, благодаря которым Россия вышла на арену активной политической жизни (хотя он придавал им исключительное значение!), но прежде всего с точки зрения того, как оно относилось к экономическому и политическому положению крепостного крестья-

янства. Именно за игнорирование интересов народных масс он клеймил позором российское самодержавие.

Так, разоблачая «филантропические побуждения» императрицы Екатерины II, он писал: эти побуждения отнюдь не заставили ее приняться за «уврачевание» одной из самых «тяжких язв» русской действительности — крепостного рабства половины населения России. Напротив, указом 1783 г. она обратила в «рабов» все население Малороссии; что же касается «рабов-иноземцев», то ею было установлено, что, вступив на российскую землю и приняв христианскую веру, они становятся свободными. «Стало быть, — с негодованием восклицал Фонвизин, — в России только одни русские могут быть крепостными рабами: странное преимущество народа господствующего!» (там же, 29).

Этот конкретный исторический анализ отношения самодержавного правительства к крестьянскому вопросу подводил Фонвизина к справедливому заключению, что российское самодержавие всегда было и остается враждебным русскому народу, его страданиями и что его правители делают все возможное, чтобы еще более усугубить тяжесть его экономического и политического положения, так как в сохранении крепостного рабства они видят главное условие собственного существования.

Фонвизин гневно бичевал царское правительство, которое, насаждая в России рабство, вместе с тем иезуитски подписывало соглашения с Англией и Францией о запрещении торговли неграми. «Это, конечно, — писал он в статье «О подражании русских иностранцам», — случилось в минуту забвения, что в России про-

изводится в большем размере столько же ненавистная и еще более преступная торговля нашими соотечественниками, христианами, которых под названием ревизских душ покупают и продают явно, и присутственные места совершают акты продажи» (13, 107). Рабство русских земледельцев, заключал он, есть основная причина «несовершенства общественного состава», главное препятствие на пути полного развития «того общего благоденствия, которого Россия своими естественными способами могла бы достигнуть, оно в будущем угрожает ее спокойствию» (11, 109—110). По мнению Фонвизина, рабство продолжает сохраняться только потому, что народ еще не постиг тайну своего собственного могущества, что он находится вне цивилизации и политического просвещения. Если бы народ, утверждал он, поднялся до уровня истинного образования, то он начал бы «необходимую борьбу» с самодержавным деспотизмом «и слишком известно, на которой стороне должна быть победа; на этот счет история народов не оставляет ни малейшего сомнения» (13, 106).

Итак, Фонвизин теперь отчетливо сознает, что правительственным путем урегулировать крестьянский вопрос невозможно и что принципиальное разрешение этого вопроса связано с ликвидацией самодержавной деспотической власти. Этот вывод побудил его непосредственно заняться с середины 40-х годов вопросом о характере революции в России.

«СПАСЕНИЕ В РЕВОЛЮЦИИ»

В историко-философской литературе принято объяснять неприятие декабристами «народной революции», ориентацию исключительно на революцию «военную» их дворянской ограниченностью, непониманием места и роли классовой борьбы в истории человечества (см. 37, 175—176). Однако это объяснение слишком общо, чтобы исходя из него можно было ответить на вопрос о действительном взгляде декабристов на характер революции в России.

В самом деле, почему, например, Бестужев-Рюмин признавал «весьма опасным» сделать народ участником государственного переворота? Почему остерегались «бунта между крестьянами» Рылеев и другие руководители «Северного общества»? Почему Пестель, мечтавший, по словам Герцена, привлечь к участию в революции народ, ограничивал тем не менее свой выбор только раскольниками, а позже вообще остановился на мысли «о временном (революционном. — А. З.) правлении и его необходимости»? Считать, что и он не понимал значения классовой борьбы в развитии общества, было бы неверно, ибо он сам доказывал, что «главное

стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристокрациями всякого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных основанными» (35, 2, 166).

Позиция декабристов, на наш взгляд, объясняется тем, что они намеревались с помощью революции решить ограниченную задачу. Все они — и приверженцы конституционной монархии, и сторонники демократической республики — основной целью своих политических стремлений считали «возобновление» уничтоженных российским самодержавием «первобытных» законо-свободных учреждений, характерных для древней Руси. Поэтому и государственный идеал видели они в народном вече. Эпоха древнерусского вечевого правления была для них своего рода «золотым веком», они вдохновлялись ею, мечтали перенести в настоящее. Рассматривая историческое развитие России как процесс постепенного насильственного исчезновения исконных общинно-вечевых вольностей, они строго различали два периода: первый — господства народного представительства, второй — феодального, аристократического. Декабристы хотели прежде всего восстановить «справедливость» — вернуть народу «естественное» право участвовать в государственных делах. Хотя они по-разному понимали идею народного представительства, однако сходились в признании «военной» революции в качестве единственного способа политического насилия, который может осуществить их желание — учредить в России законо-свободное, представительное правление.

Так, Н. Муравьев в случае отказа императорской фамилии принять конституцию намеревался «произвести возмущение в войске и

обнародовать оную» (35, 1, 343). «Наша революция... — говорил Бестужев-Рюмин, — не будет стоять ни одной капли крови, ибо произведется одною армиею, без участия народа... мы поднимем знамя свободы и пойдем в Москву, провозглашая конституцию» (35, 3, 36). О «предупреждении всякого междоусобия» думал и Пестель, разрабатывая план революционного введения «коренных постановлений» (35, 2, 165).

Таким образом, декабристы признавали непосредственной целью революционного восстания принятие конституции, предоставляющей народу политические и гражданские права. Эта цель позволяла им, с одной стороны, признать законность насильственного переворота, а с другой — отвергнуть необходимость участия в нем самого народа.

Ориентируясь на «бескровную», «ограниченную» революцию, они руководствовались преимущественно опытом предшествующего столетия, доставлявшего им примеры нескольких удачных военных правительственных переворотов. «...Переходило ли, например, исследование к самому происхождению разных правительств в России, — писал Д. И. Завалишин, — оно видело целый ряд революций, и притом при полном безучастии народа, и совершаемых большею частью военною силою, как было при возведении на престол Екатерины I, при свержении Бирона, регентши и Петра III. Все примеры показывали, что Россия повиновалась тому, что совершала военная сила в Петербурге, и признавала это законным...» (33, 213). Кроме того, как отмечалось выше, декабристы находили конкретное подтверждение правильности избранной ими тактики военной революции в на-

ционально-освободительных движениях Западной Европы.

Декабристы были далеки от народа и по иной причине. Герцен писал: «...народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, ее надлежало восстановить, но каким образом? В этом-то и состоял великий вопрос» (25, 461).

Непричастность народа к восстанию декабристов явилась прямым следствием того решения «великого вопроса», которое предлагали сами дворянские революционеры. Они думали, что народ можно привлечь к себе только после революции, когда будут созданы условия для постепенного преобразования его экономического быта и распространится истинное просвещение. В настоящий же момент, полагали они, народ вследствие «долгой привычки» к крепостному рабству может встать против них на стороне правительства и таким образом обратить свободу «в своеволие, худшее самого крайнего произвола» (20, 289).

И декабристы были в определенном отношении правы, так как все крестьянские выступления в России носили характер исключительно антидворянский и не были направлены против царя. Этот наивный «монархизм» крестьянских масс, их вера в «доброе» и «хорошего» царя всего отчетливее проявились в программных требованиях пугачевского бунта — самого близкого декабристам по времени народного восстания. Ф. Энгельс писал: русский народ «устра-

ивал, правда, бесчисленные разрозненные крестьянские восстания против дворянства и против отдельных чиновников, но против царя — никогда, кроме тех случаев, когда во главе народа становился самозванец и требовал себе трона. Последнее крупное крестьянское восстание при Екатерине II было возможно лишь потому, что Емельян Пугачев выдавал себя за ее мужа, Петра III, будто бы не убитого-женой, а только лишеного трона и посаженного в тюрьму, из которой он, однако, бежал. Наоборот, царь представляется крестьянину земным богом...» (1, 547).

Зная об этом, декабристы не без основания опасались, что царское правительство может использовать народное выступление для подавления революции. А именно такого «междоусобия» не хотели допустить дворянские революционеры. От кровопролитной народной войны отталкивал декабристов и отрицательный опыт западных буржуазных революций, террор эпохи якобинской диктатуры, выродившийся в наполеоновское самовластие. «Ужасные происшествия, бывшие во Франции во время революции, — отмечал в показаниях Пестель, — заставляли меня искать средство к избежанию подобных... (35, 2, 165). Действительно, история Великой французской революции, указывал Энгельс, свидетельствует, что плебейские массы, захватив временно власть, «доказывали только всю невозможность господства этих масс при тогдашних отношениях» (2, 268—269).

Однако декабристы в отличие, например, от Радищева, которого эти события привели на грани XVIII и XIX вв. к отрицанию радикаль-

ных политических средств вообще, не отказались от революционных действий, они лишь ограничивали сферу насильственного переворота (см. 54, 158). Такого рода «сужения демократических сил», привлекаемых к участию в революции, требовали конкретно-исторические условия России того времени, оно диктовалось необходимостью преодоления абстрактной просветительской идеологии, просветительских представлений о специфике общественного прогресса.

Все сказанное о характере декабристской революционности непосредственно связано с тем решением проблемы насильственного переворота, которое предлагал М. А. Фонвизин. К принятию тактики военной революции он был подготовлен как опытом собственной жизни (восстание военнопленных под его руководством в городе Оверн во Франции), так и национально-освободительным движением 20-х годов на Западе. Поэтому не случайно он одним из первых среди декабристов выступил в защиту испанских кортесов и резко осудил действия Священного союза на Веронском конгрессе (1822 г.). «Веронский конгресс,— писал он в статье «О повинности вышней власти...», — решил, что нынешние кортесы, составленные военной революцией, не имеют надлежащей законности... и потому предоставил Франции управиться с Гвипаниею с обещанием ей всякой помощи, буде востребует нужда...» Защищая кортесы, Фонвизин прежде всего отстаивал законность самой военной революции. Он рассматривал вмешательство во внутренние дела независимого государства как «главейшее зло», представляющее прямую угрозу «всяким свободомыслящим (либе-

ральным) идеям, учреждениям и людям» (см. 31, 490—491). В тактике военных революций Фонвизина, как и других декабристов, привлекала сравнительная быстрота осуществления государственного переворота и ограниченность лиц, принимающих в нем участие.

Однако в 20-е годы Фонвизин не ставил специально проблему военной революции. За это он основательно принялся в период сибирской ссылки после неудачной попытки реализовать официальным путем свой проект крестьянской реформы. Осмысливая причины поражения декабристского восстания, он впервые в русской социологии выдвинул два принципиальных вопроса: во-первых, вопрос о главных исторических формах русского антимоноархического движения и основных его движущих силах и, во-вторых, вопрос о значении декабризма как высшего «проявления политической жизни» в России.

Примечательно, что этим же вопросам особое внимание уделял в самом конце 40-х — начале 50-х годов А. И. Герцен. Остановимся коротко на его суждениях, так как сравнение их с выводами Фонвизина позволит полнее понять оригинальность и своеобразие историко-революционных идей декабриста.

Основная идея книги Герцена «О развитии революционных идей в России» (1851) афористически выражена в словах: «Подлинную историю России открывает собой лишь 1812 год; все, что было до того, — только предисловие» (25, 395). До московской централизации, писал Герцен, «мы не встречаем какого-либо отдельного, привилегированного, обособленного класса. Там был только народ и одно племя — вернее,

княжеский владетельный род, потомство варяга Рюрика, — совершенно отличное от народа» (там же, 396—397). Общественный строй в городах был тот же, что и в деревнях, — общинно-вечевой, оттого «княжеская власть была отнюдь не той неограниченной властью, какой она стала в Москве» (там же, 398). Древнерусские князья, по мнению Герцена, являлись лишь старейшинами множества городов и деревень, которыми они управляли совместно с «общими сходами» представителей народа. После падения Киева в период монгольского ига и с началом постепенного возвышения Московского княжества характер власти великих князей меняется: «они стали более самовластными» и думали прежде всего о централизации. Необходимость централизации, отмечал Герцен, была очевидна, без нее не удалось бы ни свергнуть монгольское иго, ни спасти единство государства. Однако Москва, писал он, «спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни» (там же, 404). Русский народ, избавившись от иноземного владычества, подпал под гнет неограниченного монарха. У него не хватило силы и энергии «снова стать на ноги», он «ушел с поля битвы», потеряв все свои права в городах, и скрылся в недрах сельских общин, где еще мог дышать вольным воздухом. Он остался «в одиночестве», вне всякого общественного и политического движения, которое с этого времени и до войны 1812 г. возглавляет правительство, а после «рядом с ним идет дворянство» (там же, 438).

Поэтому, считал Герцен, история России, включая пугачевское восстание и пробуждение народа в 1812 г., — «не что иное, как история

русского правительства и русского дворянства» (там же, 419).

Победа над Наполеоном ничего не дала народу: «он возвратился в свою общину, к своей сохе, к своему рабству» (там же, 439). Но зато она решительно переменяла умонастроение лучшей части дворянства — гвардейских и армейских офицеров. Познакомившись с западным миром, усвоив новые политические теории, они прониклись «рыцарскими чувствами чести и достоинства», которые были неведомы «до тех пор русской аристократии плебейского происхождения, вознесенной над народом милостью государей» (там же, 440). Все стало вызывать в них ропот: дурное управление, продажность чиновников, полицейский гнет. Из них-то, продолжал далее Герцен, составила «первая по истине революционная оппозиция, создававшаяся в России». До этого были лишь отдельные «политические проблески»: первые из них — когда императрице Анне продиктовали условия вступления на престол, вторые — в царствование Екатерины II, когда несколько вельмож пытались добиться конституции. Но эти оппозиции Герцен признавал консервативными, так как они не выходили «из круга строго монархических идей» (там же, 441).

Напротив, декабристская оппозиция была преимущественно республиканской; она не пожелала «более довольствоваться представительной монархией» (там же, 444). Давая общую характеристику декабризму, Герцен писал: «14 (26) декабря действительно открыло новую фазу нашего политического воспитания... Русским недоставало отнюдь не либеральных стремлений или понимания совершавшихся злоупо-

треблений: им не доставало случая, который дал бы им смелость инициативы... И вот эти первые пришли... эти люди пробудили душу у нового поколения; повязка спала с глаз» (там же, 446).

Итак, по мнению Герцена, общественно-политическое движение в России прошло через три основных этапа: общинно-вечевой, когда народ принимал прямое участие в делах государственного управления, прерванный московской централизацией; правительственный, продолжавшийся до Отечественной войны 1812 г. и проходивший всецело под эгидой самодержавной власти; наконец, дворянский, открытый декабристами—провозвестниками революционных идей в России.

Обратимся теперь к Фонвизину. Первой отличительной особенностью взглядов Фонвизина на декабризм было то, что он рассматривал его как высшее политическое проявление общинно-вечевого, демократического начала народной жизни, как вообще выражение истинных стремлений крестьянских масс. Поэтому, анализируя в книге «Обозрение проявлений политической жизни в России» прежние оппозиционные движения, он акцентировал внимание на том, в какой мере это общинно-демократическое начало оказало влияние на их программные политические цели.

Фонвизин, как и Герцен, видел в насильственном возвышении московских князей в эпоху татаро-монгольского ига причину падения древнерусской общинно-вечевого демократии. Великие московские князья, доказывал он, уничтожили народные права и вольности, отменили исконные политические учреждения и утверди-

ли повсюду произвол и беззаконие. В отличие от Герцена с этого времени, считал он, «свободных общин» в России не стало: Русь сделалась Московским государством и «бессовестные вельможи угнетали народ». «Но дух свободы, — восклицал Фонвизин, — живуч в народах, которых он когда-либо одушевлял» (8, 6).

В Земских соборах XVI в. он видел первые попытки возродить в России общинно-вечевые традиции. Хотя они созывались редко, но влияние их, по его мнению, было значительным: даже Иван Грозный «произносил пред ними покаяние в худом правлении». В то же время Фонвизин отмечал, что Земские соборы были слабым выражением «народной самостоятельности, везде и всегда противной властолюбивым самодержцам», ибо «тогда власть была в руках московской аристократии» (там же).

Любопытно в данной связи одно обстоятельство: Фонвизин приписывал Земским соборам «характер чисто европейский», так как, полагал он, ничего подобного не знала Азия, оцепеневшая в своей «тысячелетней неподвижности». «Конечно... нельзя сравнивать, — писал он, — тогдашнего состояния России, в которой в двухвековое бедственное рабство под игом Орды не только прилипло много дикой татарщины, но даже проникло в ее обычаи и нравы, с современным ей просвещением и образованностью тогдашних европейских государств». Но тем не менее он вполне допускал, что если бы Земские соборы развились в «правильную систему» народного представительства, то Россия «наслаждалась бы теперь законно-свободными постановлениями, ограничивающими произвол верховной власти» (там же, 9—10).

На деле, однако, вышло иначе, констатировал Фонвизин. Петр I не созывал больше Земских соборов, ибо видел в них «препятствие» в задуманных преобразованиях, направленных исключительно «на развитие исполинского могущества своей империи». В этом, признавал он, Петр «точно успел, приготовив ей то огромное значение, которое ныне приобрела Россия в политической системе Европы». Он знакомил русских с Западом, думая перевоспитать их в духе европейской цивилизации. Одним этим «он сделал для нас возможным истинный прогресс». Но ему, «деспоту», остался «чужд и даже противен» сокровенный дух европейской цивилизации — «дух законной свободы и гражданственности» (там же, 10).

«Мечтая перевоспитать своих подданных, — писал Фонвизин, — он не думал вдохнуть в них высокое чувство человеческого достоинства, без которого нет ни истинной нравственности, ни добродетели. Ему нужны были способные орудия для материальных улучшений по образцам, виденным им за границей: для регулярных войск, флота, для укрепления городов, построения крепостей, гаваней, судоходных каналов, дорог, мостов, для заведения фабрик и проч. Он особенно и дорожил людьми специальными, для которых наука становится почти ремеслом; но люди истинно образованные, осмысленные, действующие не из рабского страха, а по чувству долга и разумного убеждения, — такие люди не могли нравиться Петру, а скорее должны были ему казаться свидетелями беспокойными и даже опасными для его железного самовластия, не одобряющими тех тиранических действий, которые он слишком часто позволял себе» (там же, 15).

Но «тиранические действия» Петра, отмечал далее Фонвизин, не заглушили в русском обществе стремлений к политической свободе. В его царствование не только не исчезла прежняя, «земская», оппозиция, желавшая восстановления «старины, времени допетровского», но составилась также «из молодого поколения» другая «партия», члены которой, «более образованные и осмысленные знакомством с Европой, тяготились уже самодержавием и замыслили ограничить его собранием государственных чинов и сенатом» (там же, 16). Эта партия, считал Фонвизин, положила начало конституционно-монархическому движению в России. Он подчеркивал и то обстоятельство, что с конституционной оппозицией связаны все дворцовые перевороты, произведенные в течение XVIII столетия, и что поводом к ним послужило отсутствие закона о престолонаследии. Его должен был издать Петр, однако он не сделал этого; и с тех пор «гвардия, как преторианцы римские, располагала тронном» (там же, 13).

Фонвизин указывал на важную деталь: искатели российского престола опирались на конституционную партию, пока рвались к власти, но, как только достигали цели, сразу начинали заигрывать с земской оппозицией, чтобы упрочить свое положение. Так, по его мнению, Екатерина II после «незаконного» восшествия на трон «не хотела казаться самовластной» и, налагая на себя «личину свободолюбия», объявила о намерении возродить Земские соборы. «С этой целью,—писал он,—в 1767 году императрица решила созвать в столицу депутатов от всех свободных сословий русского народа, избранных с точным соблюдением форм на-

родного представительства... Это торжественное собрание, долженствовавшее доставить русским политическую самобытность, кончилось ничем. После нескольких заседаний, в которых более осмысленные из депутатов коснулись важных политических вопросов, как-то: о противоестественности крепостного рабства почти половины населения империи, которая лишена всех (гражданских) прав, также будет ли верховная власть после издания нового Уложения изменять его именными указами и т. п., — вследствие этого собрание представителей было распущено под предлогом начавшейся турецкой войны. Екатерина угадывала в собрании депутатов будущее противодействие своему неограниченному самодержавию. Депутаты удостоились изъявления монаршей признательности за труды, которые они еще не предпринимали, и розданные им золотые медали были памятником эфемерного существования первого и последнего представительного собрания» (там же, 27—28). Этот сатирический набросок к портрету Екатерины II является одной из самых острых политических характеристик в историко-публицистической литературе первой половины XIX в.

Неудача, постигшая земское оппозиционное движение в 1767 г., послужила, с точки зрения Фонвизина, причиной усиления в русском обществе конституционно-монархических настроений. Поэтому, считал он, время Екатерины II, а потом Павла I и начальный период царствования Александра I были ознаменованы перевесом либерально-западнических тенденций и протекали под флагом конституционного ограничения самодержавной власти. Подобно Герцену, Фонвизин считал, что события 1812 г. от-

крыли новую эпоху в политическом развитии России.

Фонвизин внимательно анализировал «насильственные перевороты», совершенные участниками конституционной оппозиции в XVIII в. Его привлекало в них то, что они были произведены «при ограниченных средствах» и увенчивались «полным успехом». Но он отмечал и отрицательные стороны прежних «заговоров»: во-первых, отсутствие у заговорщиков «восторженной любви к отечеству и свободе» и, во-вторых, сословную узость их политических целей. Оттого самый успех этих правительственных переворотов, правильно отмечал Фонвизин, никоим образом не отражался на положении народа; более того, деспотическая власть легко находила общий язык с оппозиционным дворянством и, расширяя его права в отношении крепостных крестьян, заставляла забывать о конституции. «Если покамест дворянство и переносит терпеливо неограниченное самодержавие, — писал он, — так за то оно в свою очередь вознаграждается правом самовластвовать над своими крепостными» (13, 107).

Таким образом, Фонвизин, как и Герцен, признавал дворянскую конституционную оппозицию XVIII в. консервативной, монархической. Суждения их совпадали и в том, что оба считали ядро декабризма республиканским, однако в отличие от Герцена, который связывал декабристский республиканизм преимущественно с влиянием западноевропейских политических теорий, Фонвизин усматривал в нем действительное возрождение национальных общинно-вечевых демократических традиций. Герцен доказывал, что общинный народный элемент не

играл никакой роли в политическом движении России и что за ним — только будущее. «Община, продержавшаяся в течение веков, несокрушима, — писал он. — Тем, что Петр I окончательно оторвал дворянство от народа и пожаловал ему страшную власть над крестьянами, он поселил в народе глубокий антагонизм, которого раньше не было, а если и был, то в слабой степени. Этот антагонизм приведет к социальной революции, и не найдется в Зимнем дворце такого бога, который отвел бы сию чашу судьбы от России» (25, 412). Следовательно, Герцен придавал сельской общине самостоятельное значение, видел в ней зародыш будущей крестьянской революции.

Фонвизин рассуждал иначе. Прежде всего он считал, что община — это вообще форма политического представительства народа, вече, обеспечивающее участие всех граждан в общественной жизни государства. Он полагал также, что общинное устройство, существовавшее на Руси с древнеславянских времен, было уничтожено самодержавием и что только в некоторых местах оно сохранилось в виде сельских муниципальных или волостных учреждений. По его мнению, попытки возродить «свободное общинное устройство» предпринимались участниками земской оппозиции в XVI и XVII вв., а также в царствование Екатерины II. Но эта оппозиция, отмечал он, состояла в основном из архиереев, бояр, купцов и дворян первых трех степеней, поэтому она была лишь слабым выражением «народной самобытности», которая только в декабризме получила свое действительное проявление. Такое понимание общины давало Фонвизину основание воспринимать декабризм как об-

щинно-демократическое движение, следовательно, делать шаг вперед в направлении революционно-демократической идеологии.

Правомерность этого заключения подтверждается сравнением взглядов Фонвизина на существование декабризма со взглядами М. С. Лунина. Они близки в изложении исторических фактов, но принципиально расходятся в окончательных выводах. «Надлежит сознаться, — писал Лунин, — что Тайный Союз не отдельное явление и не новое для России. Он связуется с политическими сообществами, которые одно за другим, в продолжение более века, возникали с тем, чтобы изменить формы самодержавия; он отличается от своих предшественников только большим развитием конституционных начал» (48, л. 30).

На фоне этих рассуждений Лунина особенно рельефно проявляется демократическая тенденция Фонвизина. В самом деле, устанавливая идейную преемственность между декабристской политической теорией и общинно-демократическими стремлениями крестьянских масс, он фактически становился на революционно-демократические позиции. Но в силу этого же (что кажется парадоксальным на первый взгляд) он отвергал необходимость народного восстания и ориентировался исключительно на тактику военной революции. Фонвизин не только не верил в положительный успех крестьянского выступления, что явствует из его критического отношения к пугачевскому бунту (см. 31, 484), но считал совершенно недопустимым «национальное кровопролитие». Он признавал, что крестьянство способно лишь на стихийный бунт против своих непосредственных угнетателей — помещиков (это,

кстати, не отрицал и Герцен), тогда как требуется организованная борьба с самодержавием.

Заслуги декабристов он видел как раз в том, что они первыми создали тайную военную организацию, поставившую цель насильственной реализации истинных стремлений народа, но без его прямого участия в государственном перевороте. Поражение декабристов Фонвизин объяснял прежде всего нерешительностью и бездействием предводителей. «Если б отряд, вышедший на Сенатскую площадь, — писал он, — имел предприимчивого и отважного начальника и вместо того, чтобы оставаться в бездействии на Сенатской площади, он смело повел бы его до прибытия гвардейских полков ко дворцу, то мог бы легко захватить в плен всю императорскую фамилию. А имея в своих руках таких заложников, окончательная победа могла бы остаться на стороне тайного общества» (8, 97).

Трудно судить, насколько был прав Фонвизин в последнем утверждении, однако в целом его ориентация на военную революцию представляется нам более реалистичной, нежели позиция Герцена, ибо верить, что крестьянство, веками жившее под игом крепостного рабства и политического невежества, способно было самостоятельно преобразовать государственную систему на республиканских началах, означало быть утопистом.

Итак, Фонвизин отвергал участие народа в революции в интересах, как он считал, самого народа. Он полагал, что народные восстания вызывали лишь усиление самодержавного деспотизма и ослабляли дворянство — единственное в России сословие, «которое, будучи просвещеннее, образованнее других сословий, име-

ет что-то похожее на политические права и... обладает некоторою самостоятельностью...» (13, 106). Он не идеализировал дворянство, напротив, показывал его консерватизм, резко бичевал крепостное право, позволявшее ему «самовластвовать» над русскими крестьянами... Но вместе с тем именно в нем Фонвизин видел силу, способную «в видах общей народной пользы» насильственно уничтожить абсолютизм и преобразовать общественные отношения на республиканско-демократических началах.

Важно иметь в виду и то, что Фонвизин не абсолютизировал «ограниченную», военную революцию, не возводил ее до единственного вообще способа борьбы с деспотизмом. Он признавал ее приемлемой только для России, и только потому, что в России «не было и теперь почти нет пролетариата» (14, л. 14 об.). Появление пролетариата, считал Фонвизин, решительно изменяет соотношение политических сил в стране, ибо он становится главным участником «социальных переворотов». Благодаря пролетариату, писал он, «произошли все революционные движения» на Западе (см. 14, л. 11 об.).

Таким образом, военная революция представлялась Фонвизину годной лишь применительно к русским условиям, и этим он объяснял различие в историческом развитии России и Запада.

В 40—50-х годах XIX в. проблема национального своеобразия России стала одной из животрепещущих тем русской социологии. Разработкой ее занимались и славянофилы, и западники. Несмотря на различия исходных принципов, которые они брали за основание собственных концепций, их объединяла общая поли-

тическая позиция: стремление противопоставить «рассудочности» Запада «разумность» России, революционным преобразованиям — «органическое развитие».

Русская история, доказывал, например, западник Кавелин, представляет совершенную противоположность истории западных государств. «...История, — писал он, — вполне предоставила нас нашим собственным силам. Это еще более справедливо, если мы вспомним, что мы не сидели на плечах у другого народа, который... мог бы сообщить нам... плоды своей высшей цивилизации (38, 24). Россия, уверял Кавелин, развивалась из «самой себя», не привнося в свой общественный быт никаких внешних заимствований.

Славянофилы, как и Кавелин, высказывали мысль о «несхожести» России и Запада, но выводили ее из различий религиозного характера. Россия, рассуждал Киреевский, переняла христианство от Византии, поэтому «постоянно находилась в общении с вселенскою церковью». Она не уклонилась, подобно Западу, в рассудочную отвлеченность и грубо-чувственный материализм при столкновении с образованностью древнего языческого мира. Она начала усваивать результаты «научнообразного просвещения» античности только тогда, когда окончательно утвердилась в «образованности христианской».

Совсем иначе, на взгляд Киреевского, обстояло дело на Западе. Христианство, проникнув на европейские земли, встретилось с «громادным затруднением» — с образованностью римской; под воздействием этой образованности «богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности» и сделалось источником

стремлений «к личной и самобытной разумности в мыслях, в жизни, в обществе и во всех пружинах и формах человеческого бытия». Оттого на Западе единственным средством «улучшения» общественных и гражданских отношений становится «насилие» (см. 43, 174—222).

Фонвизин хорошо знал славянофильские теории и относился к ним отрицательно, считая, что славянофилы «восстают» против Запада «в угодность правительству, возненавидевшему европеизм». Но он тем не менее много занимался проблемой своеобразия исторических путей развития России и Запада, чтобы теоретически обосновать свой тезис о возможности в России только военной, «ограниченной» революции. Он, как отмечалось выше, исходил из того, что в России нет пролетариата, который мог бы произвести «социальный переворот». Стремясь разобрататься в причинах, обусловивших «сословные» различия между Россией и Западом, он предпринимает исторический анализ тех социально-экономических факторов, которые породили европейский пролетариат.

К этому вопросу декабристы обращались и до Фонвизина, в частности в начале 30-х годов данному вопросу много внимания уделял Н. А. Бестужев. Фонвизин читал рукопись его книги «О свободе торговли и вообще промышленности» (1832 г.) и целиком разделял сформулированные им выводы. Бестужев пытался, опираясь на конкретный экономический материал, обосновать пестелевское положение о неприемлемости для России западноевропейского пути развития. Но если Пестель отрицал этот путь потому, что он привел к появлению буржуазии («аристократии богатств»), которая еще

больше расстроила политическое «бытие» народа, поставив его в полную зависимость от «богатых» (см. 35, 2, 145), то разочарование в западноевропейской действительности Бестужева было связано главным образом с его отношением к пролетариату как «бедственной язве», являющейся аналогом «русского зла» — крепостного рабства крестьян.

Рассмотрим, как Бестужев на примере Англии анализировал процесс образования пролетариата. Главную причину появления пролетариата он усматривал в том, что многие английские капиталисты, «следуя различным системам и не имея куда положить капиталы, вздумали обогащаться посредством земледелия». Они начали скупать все земли, а правительство, чтобы поощрить их, запретило ввоз хлеба и тем дало способ крупным землевладельцам и откупщикам больших ферм продавать сго по цене, какую им выгодно было установить самим. «Из сего действия, — отмечал Бестужев, — вышли два несчастных обстоятельства: первое, что множество поселян, живших от маленьких участков, пошли по миру, не имея ни хлеба, ни крова, и второе, что должны были платить втридорога за тот хлеб, который они прежде получали своим трудом» (21, л. 32 об.).

Кроме того, указывал он, обнищанию сельского населения способствовало развитие крупной мануфактурной промышленности. Если раньше Англия, производившая мануфактурные изделия почти для всей Европы, «разделяла выгоды сей промышленности между всеми согражданами, занимавшимися рукомерами», то с изобретением паровой машины, позволившей усовершенствовать ткацкий станок, «устроились

большие мануфактуры, требовавшие больших капиталов и не могшие быть заведены сельскими ремесленниками, которые от сего остались без работы» (там же, л. 33 об.). Таким образом, резюмировал Бестужев, в Англии, которая признается государством, стоящим на самой высокой ступени благополучия, почти половина населения состоит из бедных, задавленных к тому же тяжелейшими податями; те же громадные капиталы, что попадают в руки немногих, используются «для укрепления монополий внутри государства и утверждения деспотизма на твердой земле Европы» (там же, л. 35).

Бестужева разочаровывал европейский путь развития тем, что он, во-первых, приводил к утверждению новой формы государственного деспотизма и, во-вторых, порождал новое сословие «крепостных людей» — пролетариев, которые, будучи в отличие от русских «рабов» совершенно лишены средств существования, представляют постоянный источник «общественных потрясений».

Фонвизин держался такого же взгляда на европейский пролетариат. «Пролетарии эти — жалкие бездомки... — писал он, — ненавидя настоящий порядок общества, не обеспечивающий ни их настоящее, ни будущее, только и жаждут ниспровержения всего существующего, надеясь в социальном перевороте обрести улучшение своей бедственной участи» (14, л. 11). Но в отличие от Бестужева, который в своем сочинении ограничился указанием на одни современные ему экономические явления, породившие «нищенствующих бездомков», Фонвизин пытался дать историческое объяснение процесса пролетаризации и пауперизации западноевропейского

городского и сельского населения. «История, — писал он, — изображая политические события в их последовательности, взаимной связи, свидетельствует, что многие современные нам факты в жизни народов произошли от причин, весьма по времени от нас отдаленных, относящихся к векам давно минувшим, причин, которых действие может продолжаться неопределенно и в далекой будущности» (там же, л. 11).

Такой подход позволил Фонвизину акцентировать внимание не только на элементах сходства в положении русского крестьянства и европейского пролетариата, на что делал основной упор Бестужев, но и прежде всего на экономических и политических различиях этого положения, обнаружившихся в процессе многовекового развития России и Запада.

Соображения Фонвизина сводятся к следующему. Появление европейского пролетариата обусловлено теми событиями, которые совершились еще в эпоху падения Римской империи. Германские племена, овладев римскими провинциями, разделили занятые земли на многочисленные участки. Самые обширные из них поступили во владение главного вождя; сподвижники же его и другие вожди соответственно «заслугам своим и уважению» получили бóльшие или меньшие участки, ставшие именоваться аллодами, а простым воинам были розданы поместья во владениях вождей. Так из завоевателей образовалось высшее сословие — «поземельная аристократия», облеченная всеми политическими и гражданскими правами. Покоренные же ими «туземцы, какого бы звания они ни были в прежнем римском быте, сделались безусловными подданными феодалов». Исключение было сделано

для одного только духовенства, «потому что германцы, обратившиеся уже в христианство, весьма чтили духовный сан» (там же, л. 12 об.).

Такой же участи, отмечал далее Фонвизин, подвергались первоначально и города; они также поступили во владение феодалов-завоевателей. Однако по сравнению со своими сельскими соплеменниками «обыватели городов сохранили остатки римских муниципальных учреждений и вследствие разных благоприятных обстоятельств постепенно начали освобождаться от феодального ига». В этом им помогали сами короли, так как с помощью свободных городских жителей они «могли обуздывать буйных и непокорных вассалов и усилить свою власть». Таким образом в течение X—XII вв. почти все европейские города стали свободными и «сделались убежищем для сельских жителей», толпами уходивших туда «от угнетения своих феодальных тиранов». Но не многие из этих пришельцев, добывая собственным трудом средства на пропитание, могли обзавестись хозяйством, и поэтому бóльшая их часть оставалась «бездомками без всякой собственности» (там же, л. 13).

Между тем, констатировал Фонвизин, коренные горожане, владевшие домами и прочими строениями, превратились постепенно в «городовую аристократию», которая распоряжалась всеми общественными делами и управлением. Пришельцы же за неимением собственности оставались при одной личной свободе, но без всяких политических прав. «Они-то,—писал Фонвизин,— вместе с освободившимися впоследствии времени из крепостного состояния земледельцами, которые при этом не получили никаких прав на владение землями, стали родона-

чальниками нынешнего, столь многолюдного класса пролетариев, который сделался таким тяжким бременем для всех западных государств» (там же, л. 13 об.).

Фонвизин признавал, следовательно, что пролетаризация населения западноевропейских государств явилась следствием германского завоевания, повлекшего за собой, с одной стороны, утверждение феодальной системы деспотического правления, с другой — исчезновение древнеримских сельских муниципальных учреждений и переход всей собственности во владение поземельной и городской аристократии.

Это главным образом и отличает, по мнению Фонвизина, Запад от России, которая хотя и сделалась самодержавным деспотическим государством, но миновала феодализм и сохранила исконное сельское самоуправление. «Россия, — писал он, — также была завоевана монголами, но так как эти завоеватели, предпочитая кочевую жизнь, никогда не захотели сделаться оседлыми в завоеванной ими стране и опустошали ее частыми набегами для собирания дани, то в нашем отечестве и не было феодализма и сельские жители, составляющие большую часть народонаселения, сохранили свой древний волостной и общинный быт» (там же, л. 14—14 об.).

Правда, отмечал Фонвизин, Россия подверглась впоследствии «другому злу: утверждению крепостного состояния земледельцев», и это случилось именно тогда, когда Западная Европа «сбросила с себя феодальные оковы».

Но, несмотря на это, доказывал он, крепостное право отличается от феодальной системы господства над крестьянами, ибо оно, консер-

вируя общинно-волостной характер сельского быта, предохраняет земледельца от пролетариации.

Казалось бы, на основании таких рассуждений о специфике русской и западноевропейской народной жизни Фонвизин должен был прийти к заключению, что спасение пролетариата от бедствий возможно лишь при условии, если преобразовать его экономический быт на общинных началах. Именно такой вывод, как известно, делали утопические социалисты. Например, Прудон писал: «Распространить славянскую форму владения было бы большим шагом вперед в цивилизации... При господстве славянского права владения рабочий получает должное вознаграждение и плоды его трудов вполне обеспечены. Этот принцип славянской цивилизации есть самый главный факт в истории этой расы» (цит. по: 64, 214).

Мы не беремся судить о том, знаком ли был Фонвизин с этим высказыванием Прудона, хотя он самым тщательным образом изучал все доступные источники по утопическому социализму. Однако, признавая общинность «главным элементом» утопического социализма, он скептически относился к попыткам применить его к западноевропейскому пролетариату. «В настоящем положении, — доказывал он, — применение к ним (пролетариям. — А. З.) коммунистических умозрений решительно невозможно. В самом деле, каким образом изменить и превратить весь существующий порядок владения землями, уничтожить все права, освященные давностью, упразднить наследственность и произвести коренной переворот во всей промышленной деятельности? Дело практически невозмож-

ное ни в одном из западных государств» (14, л. 13 об. — 14).

Столь же наивным представлялось Фонвизину требование утопических социалистов, которое они предъявляли правительству, именно доставлять каждому нуждающемуся рабочему казенную работу и соответственно заботиться о предотвращении понижения заработной платы в частных промышленных заведениях, ввиду чего они настаивали на более справедливом повышении ее в предприятиях, построенных и содержащихся за счет казны. Это, по мнению социалистов, отмечал Фонвизин, оградит пролетариев от произвола частных владельцев в назначении заработной платы и тем самым улучшит материальное положение рабочего класса, «успокоит его и может предупредить кровавые явления нового общественного переворота и войны междоусобий, которая не раз уже возгоралась во Франции и ныне более, нежели когда, угрожает ей» (там же, л. 6).

Если не забывать того, что Фонвизин имел дело исключительно с утопическими теориями Сен-Симона, Фурье, Оуэна, Бабефа, Луи Блана, Кабе, пытавшихся разрешить рабочий вопрос в рамках существующей системы классовых отношений, то его отрицательная оценка их рекомендаций не покажется ни несправедливой, ни лишеной разумного основания. Фонвизин был достаточно проникновенен, чтобы не видеть того, что «самые попытки осуществить подобные мечты угрожают обществу разрушением», так как «большая часть» землевладельцев «не захочет бесспорно уступить свои владения, даже и за выгодную цену» (там же, л. 7 об., 14). А это значит, указывал он, что пролетариат дол-

жен добиваться собственных прав революционным путем, и «хотя пожар (Фонвизин имел в виду революционные события 1848 г. — А. З.) кажется на время потушенным, но огонь таится под пеплом и может легко от какого-нибудь непредвиденного обстоятельства возгореться с новою силою» (там же, л. 11 об.). Поэтому он критиковал стремления утопических социалистов мирным способом «доставить средства и возможности каждому гражданину к безбедному существованию» (там же, л. 6 об.).

Однако было бы ошибочным на этом основании заключить, как это делают некоторые авторы (см. 62, 326; 31, 610), что Фонвизин вообще отрицательно относился к утопическому социализму. Такой вывод решительно противоречит той оценке этого учения, которую он давал в действительности. «Мне кажется,—писал он,— что в коммунизме и социализме нет ничего нового, кроме разве их названия и способа их изложения: эти умозрения так же древни, как древен на земле антагонизм между бедными и богатыми, между довольством и нищетою. Должно, однако, согласиться, что в этих учениях не все ложь. Нельзя не признать основательными упреки их, что везде общество находится не в нормальном состоянии, что интересы страждущего большинства во всех землях принесены в жертву благосостоянию меньшего числа граждан, которые, несмотря на безразличие и равенство всех перед законом, по положению своему в обществе, богатству, образованности, если не по праву, то существенно составляют высшее сословие, участвующее в правительстве и имеющее решительное влияние на законодательную, исполнительную и судебную власти. Это мень-

шинство, естественно, стремится удерживать и охранять существующий порядок и препятствовать всякого рода нововведениям и преобразованиям (в пользу страждущего большинства), если эти изменения могут угрожать выгодам и влиянию высшего класса. В этом отношении коммунисты и социалисты правы, но способы, которыми они думают исправить общество и восстановить его в состояние нормальное, часто ошибочны. Это — несбыточные мечты, утопии, которые не устоят перед судом здоровой критики» (14, л. 6 об. — 7).

Таким образом, Фонвизин не был отрицательно настроен к утопическому социализму вообще; он отвергал лишь предлагаемые им способы преобразования общества. Главную же причину «несбыточности» утопического социализма в Западной Европе он видел прежде всего в том, что там исчезли общинные поземельные отношения. Это и привело его к мысли, что только Россия, поскольку в ней сохранились общинные формы землевладения, может переустроиться на социалистических основаниях, если уничтожить самодержавный деспотизм и крепостное рабство. «Странный, однако, факт,— писал Фонвизин, — может быть многими и не замеченный: в России, государстве самодержавном и в котором в большом размере существует рабство, находится и главный элемент социалистических теорий... это право общего владения землями четырех пятых всего населения России, то есть всего земледельческого класса, — факт, чрезвычайно важный для прочности будущего благоденствия нашего отечества» (там же, л. 14 об. — 15). Россия, считал Фонвизин, может в отличие от Запада из своих собственных «стихий»

развить демократические общественные отношения. Этот вывод еще больше укрепил его в том, что только военная, «ограниченная» революция способна, уничтожив самодержавную деспотическую власть, сохранить неприкосновенным общинный быт русского крестьянства и на его основе осуществить социалистическое преобразование России.

«ОБЩИННЫЙ СОЦИАЛИЗМ»

В конце 40-х — начале 50-х годов Фонвизин усердно занимался изучением утопического социализма, чтобы «сделать некоторые выводы относительно нашей России» (14, л. 3). Главный вывод, к которому он пришел, был тот, что Россия в отличие от Западной Европы может быть преобразована на социалистических началах, так как в ней сохранились общинные поземельные отношения.

Первоначально, работая над «Обзором проявлений политической жизни в России», Фонвизин видел в русской общине лишь своеобразный остаток древнерусского общинно-вечевого, «демократического» устройства, сохраняющийся в крестьянском общественном быте. Поэтому и в утопическом социализме его интересовало на первых порах преимущественно отношение социалистов-утопистов к учению раннего христианства: он даже усматривал в утопическом социализме возрождение, новое торжество раннехристианских идеалов.

Сообщая Оболенскому о своих занятиях «социалистическими и коммунистическими вопросами», Фонвизин писал в письме от 15 мая

1851 г.: «Защитников этих систем сочинения запрещены и до нас не доходят. Но, рассматривая без предубеждения новые эти учения, даже по отчетам их злейших критиков, основная мысль социализма и коммунизма тождественна с предписываемыми Евангелием обязанностями любви к ближнему и братолюбием. Если в числе последователей новых политических учений есть и неверующие, пантеисты и скептики, то не должно ли дивиться и благоговеть перед могущественною силою благодатного слова, увлекающего даже самих противников его говорить и действовать в его духе и несознательно распространять евангельские истины» (15, 199—200).

На возражение Оболенского, что христианство отнюдь не выставляло коммунистических и социалистических принципов и что в древнем Израиле освящено было право личной собственности, Фонвизин отвечал: «... я, однако, нахожу совсем противное... Прочитайте в книге Левит главу XXV. Из всех законодателей Моисей был самый радикальный в смысле коммунистическом и за многие тысячелетия до нас понимал, что земля, так же как воздух, вода, не может быть безусловною, неотчуждаемою собственностью лица, но что все земнородные имеют естественное неотъемлемое право, живя на ней, трудом своим снискивать от нее пропитание» (14, 202—203). В этом же письме Фонвизин уверял Оболенского, что «первая христианская церковь в Иерусалиме была святейшим коммунизмом» (там же, 203).

Следует, впрочем, иметь в виду, что Фонвизин, полемизируя с Оболенским об «истинном» учении христианства, ставил своей задачей огра-

ничить влияние «сибирской конгрегации» среди декабристов. Дело в том, что Оболенский не только решительно выступал против социализма, но и пытался, опираясь на Библию и историю христианской церкви, доказать, что монархия является единственно согласной с христианством формой государственного правления, и даже высказывал сомнения относительно необходимости отмены крепостного права. В своих письмах он уверял, что крепостное состояние способствует сохранению «простоты» и «безыскусственности» «физической жизни» русских крестьян и что поэтому оно «более располагает их сердца к принятию благодати» (62, 341).

Социализм, отвечал на это Фонвизин, отвергая всякий деспотизм, возрождает тем самым истинный «дух» христианства; оттого «социалистские и коммунистские учения не останутся без последствий, а принесут вождеденный плод» (там же, 339). Не удивительно, что он интересовался распространением этих учений в России. «Определенно говорят, — писал он А. Ф. Бриггену в письме от 28 марта 1850 г., — что социалистские и коммунистские доктрины проникли в Россию и насчитывают большое количество приверженцев... Уверяют, что среди русских социалистов есть люди всякого положения — даже молодые священники, учившиеся в духовных академиях» (там же, 337).

Таким образом, Фонвизин воспринимал поначалу утопический социализм в рамках раннехристианской «любви» и «братолюбия»; он еще не связывал его непосредственно с экономической основой общества, а относил скорее, говоря словами Чернышевского, «к так называемой жизни сердца».

Лишь позднее, в 1852 г., работая над статьей «О коммунизме и социализме», в которой осмысливается западноевропейская действительность, Фонвизин внимательно проанализировал утопический социализм с точки зрения его применимости к «настоящему» положению пролетариата. Критикуя «способы» преобразования общественной жизни, предлагаемые социалистами-утопистами, он вынужден был пересмотреть и свой взгляд на раннехристианский «коммунизм». В конечном счете он вносит в свои прежние выводы ряд существенных поправок, в частности признает, что законодательство Моисея было только «ограничением, а не уничтожением права собственности», что хотя первые христианские церкви были «коммунистическими», однако «сам апостол уже не требовал от них отречения от всякой собственности», что, наконец, в христианских общинах коммунистические идеалы реализованы не были, и если отдельным сектам удавалось каким-то образом устроить свой быт в соответствии с этими идеалами, то все же сектантский «коммунизм» не приемлем для гражданских обществ.

Так, возвращаясь в своей статье к «святейшему коммунизму» Иерусалимской церкви, Фонвизин теперь признавал, что «в ней между братьями-христианами все было общее не по уложению, а по духу любви и самоотвержения, к которому способны только избранные, облагодетельствованные души или отрекшиеся от мира отшельники, заключившиеся добровольно в монастырских стенах, а не целый народ» (14, л. 8 об.).

В другом месте, рассуждая о «благоустроенном коммунизме» в обществе моравских братья

ев, или гернгутеров (гутеритов)*, он снова пишет: «В общинах моравских братьев не существует различия званий или сословий, и они скорее похожи на монашеские общежития, нежели на политические союзы, все члены их соединены более религиозными, нежели гражданскими, узами, и потому их коммунистическое устройство едва ли может быть применено к многолюдным обществам или государствам, в которых слишком большое неравенство и разнородность составных элементов будет всегдашним тому препятствием» (там же, л. 10 об. — 11).

Результатом этого критического пересмотра явилось то, что Фонвизин преодолевает отчасти религиозно-христианское понимание сущности утопического социализма и приходит к выводу, что «коммунистические умозрения» не возрождают евангельскую «истину», а отражают в новой форме извечный антагонизм «между богатыми и бедными», между угнетателями и угнетенными. Он признавал «сходство» этих рассуждений с «политической теорией афинского философа» (Платона) и считал позднейшими «во-

* Любопытно сопоставить суждения Фонвизина о «коммунизме» гутеритов с мнением по этому же поводу П. Л. Лаврова, который писал: «Пример братьев моравских... служит для нас лучшим указателем того, к чему пришло бы человечество, если бы попытки еретико-христианского социализма могли осуществиться в жизни; в большинстве случаев они создали бы обширный монастырь, вроде тех, какие создала католическая церковь, затормозили бы, может быть, надолго умственный прогресс, не улучшая нисколько материального положения масс; усилили бы богословский элемент в общественном строе, а вместе с тем упрочили бы и те гибельные последствия, которые приводит с собой его преобладание» (46, 153).

зобновлениями» идеи платоновой республики «социалистические опыты» Томаса Мора, Кампанеллы, Мабли, Сен-Симона, Фурье, Оуэна, а также «революционные теории» Робеспьера, Бабефа и «новейшие умозрения» Луи Блана, Кабе, Консидерана и Прудона. Вместе с тем, отвергнув возможность применения их на Западе, Фонвизин тем не менее сделал для себя важное открытие: общинность, к которой стремятся коммунисты и социалисты, сохранилась в реальном виде в системе поземельного владения русских крестьян и именно русская община предохранит Россию от «бездомков» и позволит преобразовать ее на социалистических началах.

Итак, в конце 40-х годов под влиянием идей утопического социализма Фонвизин основательно пересмотрел свое первоначальное понимание общинно-волостного устройства Древней Руси: он увидел в нем не только систему «демократического», представительного правления, как считал раньше, но также исконно славянскую форму поземельных отношений. Он уверовал, что древнерусский общинный быт утратил со времени московской централизации свое государственное, политическое значение; что же касается второго момента, составляющего этот быт, — общественного владения землями, — то оно, несмотря на крепостное рабство, целиком сохранилось в рамках крестьянского «мира».

Рассмотрим более обстоятельно суждения Фонвизина о русской общине. «Изложив мои мысли о социализме и коммунизме, — писал он, — я заметил, что одна из главных стихий этих новых умозрений — общественное владение землею — существует с незапамятных времен в нашей России» (там же, л. 16 об.). Это общест-

венное владение землей выражается, по мнению Фонвизина, в особом характере распределения крестьянских наделов, который в обеих разновидностях общин — вольных и помещичьих, имеющих в России, одинаков и осуществляется либо с учетом числа податных душ, либо по количеству тягла, либо по захватам. Последняя форма распределения сохраняется лишь в тех общинах, где имеются в изобилии общественные земли: каждый крестьянин данной общины пользуется правом вспахать и скосить участок такого размера, какой он «собственными силами может обработать» (там же, л. 16 об.).

«Вторая основная идея общинности — разделение работ между общинами, — отмечал далее Фонвизин, — нигде не находится в таком применении, как у нас. Сохранившийся в России общинный характер имел влияние и на разделение промышленности. У нас целые селения, а иногда и целые приходы и даже уезды занимают однообразными производствами. Такие промышленности возрождаются или от местных удобств для их производства, или от выгодного какого-либо примера... Одним словом, одиночных промыслов в России гораздо менее, чем общинных, а потому хотя степень промышленного развития у нас гораздо ниже, чем в других государствах, но ход его совершенно согласен с общинным началом» (там же, л. 18—18 об.).

Последнее замечание Фонвизина относительно влияния общинного быта на характер развития русской «промышленности» (промыслов) примечательно в двояком отношении: во-первых, оно свидетельствует о его пристрастии к таким формам промышленного производства, ко-

торые обуславливаются стихией общинной специализации, а следовательно, способствуют сохранению уравнительного принципа распределения, и, во-вторых, позволяет конкретно судить о тех средствах, при помощи которых он намеревался предотвратить процесс пролетаризации сельского населения. Собственно, Фонвизин в этом случае руководствовался той же посылкой, что и Радищев, Малиновский, Пестель, а именно признанием земледелия в качестве «главнейшего богатства» России. Поэтому он и настаивал на том, чтобы промышленность непосредственно определялась спецификой общинного земледельческого хозяйства, была, так сказать, его отраслью, выделяющейся и развивающейся на основе общинных интересов и выгод.

Но Фонвизин не видел, да и не мог еще видеть, другой стороны этого факта — того, что выделение промыслов из структуры земледельческого хозяйства было началом разрушения патриархальной сельской общины. Он думал, что разделение общинного труда является лишь необходимым дополнением к общественному владению землями и что оба этих момента в совокупности способны преобразовать Россию на социалистических началах. Однако в действительности разделение общинного труда, указывал В. И. Ленин, было как раз основой «всего процесса развития товарного хозяйства и капитализма» (4, 23).

Анализ взглядов Фонвизина на русскую земледельческую общину убеждает в том, что они в своих главнейших чертах совпадают с теорией «русского социализма» Герцена. Мы и прежде стремились по возможности отметить некоторые сходства и различия в их убеждениях

И хотя Герцен был сторонником крестьянской революции, а Фонвизин стоял за революцию «ограниченную», военную, оба они пришли (правда, разными путями) к одинаковой оценке значения русской общины. Чтобы нагляднее проиллюстрировать этот вывод, рассмотрим в самом общем виде эволюцию взглядов Герцена на утопический социализм и сельский общинный быт в России.

24 марта 1844 г. Герцен, ознакомившись с «Историей христианской церкви» Гфрёрера, записал в своем дневнике, что в коммунизме и социализме проявляются «главнейшие истины христианской теодицеи и христианская нравственность»; в наше время, отмечал он, коммунизм и социализм находятся в том же положении, в каком было первоначально христианство: «Они предтечи нового мира общественного» (28, 160). Герцен пока убежден только, что «обновление неминуемо», но способ, каким это обновление совершится, был ему неведом, вернее, он считал, что, «собственно, все равно» — «принесется ли оно вдохновенной личностью одного или вдохновением целых ассоциаций пропагандистов...» (там же, 161).

О русской общине, вообще о каком-либо значении «славянских древностей» Герцен еще не думал; более того, он упрекал «славянобеснующих» в непонимании «европейского развития». «Славяне, — отмечал он, — в будущем, вероятно, призваны ко многому, но что же они сделали в прошедшем со своим стоячим православием и чуждостью от всего человеческого?» (там же, 101). Следовательно, неприятие славянских древностей, убеждение, что «Русь не выступала из уз семейно-патриархальных» (там

же, 157), — вот, пожалуй, то главное, в чем проявляется на первых порах отличие взглядов Герцена от взглядов Фонвизина, для которого отечественная старина всегда служила идеальным прообразом будущей России. Это подтверждается и дневниковой записью Герцена от 13 мая 1843 г. После встречи с бароном Гакстаузенем, известным исследователем сельских учреждений в России, который убеждал его, что «важным элементом» русского быта, «сохранившимся из глубокой древности», является «общинность», и советовал «его-то развивать сообразно требованиям времени», Герцен писал: «Но это вздор: если б отношение общины сельской к помещику изменялось с ее величиною, с количеством земель или иных условий жизни, тогда можно бы понять какую-нибудь норму. Это не так. Состояние общины NN зависит от того, что помещик ее богат или беден, служит или не служит, живет в Петербурге или в деревне, управляет сам или приказчиком. Вот это-то и есть жалкая и беспорядочная случайность, подавляющая собой развитие» (там же, 92—93).

Лишь в результате пережитой в период революции 1848 г. духовной драмы и последовавшего вслед затем разочарования в возможности близкой победы социализма на Западе, Герцен начинает искать иные пути осуществления социалистических принципов. Взор его обращается к России: «...люди, имеющие несчастье так хорошо сознавать, что окружающий их мир умирает, — писал он Гервегу, — должны невольно оборотиться к стране, у которой нет прошедшего, зато есть огромное будущее» (цит. по 60, 146).

В августе 1849 г. он пишет статью «Россия», где впервые формулирует основные идеи «русского социализма». Содержание ее сводится к следующему. Народы Западной Европы в процессе своего исторического развития «доработались» до положительных социальных идеалов. Однако практически они отстают от них дальше, чем Россия, ибо общественный быт русского народа сходен с этими идеалами. «То, что является для Запада, — писал Герцен, — только надеждой, к которой устремлены его усилия, — для нас уже действительный факт, с которого мы начинаем» (там же, 147). Таким фактом, по его мнению, служит сельская община, нуждающаяся, правда, в определенном изменении и совершенствовании, но тем не менее даже в своем настоящем виде представляющая собой непосредственное воплощение идеальных принципов западноевропейских социалистических теорий.

В очерке «О сельской общине в России», приложенном к трактату «О развитии революционных идей в России» (1851), Герцен, характеризуя русский общинный быт, акцентировал внимание на следующих моментах: во-первых, русская сельская община существует с незапамятных времен и похожие на нее формы встречаются у всех славянских народов; там же, «где ее нет, она пала под германским влиянием»; во-вторых, земля, принадлежащая общине, распределяется между ее членами, и каждый из них обладает «неотъемлемым правом» иметь столько земли, сколько ее имеет любой другой член той же общины; «эта земля предоставлена ему в пожизненное владение, он не может да и не имеет надобности передавать ее по наследству»; в-третьих, вследст-

вие такой формы землевладения «сельский пролетариат — вещь невозможная», и что если принять во внимание еще, с одной стороны, обязанность всякого русского, за исключением горожанина и дворянина, быть приписанным к общине, а с другой — чрезвычайно ограниченное число городских жителей в России, то «невозможность многочисленного пролетариата становится очевидностью» (см. 25, 508—510).

Герцен, который еще в 1848 г. был совершенно убежден, что практически Россия в отношении социализма в настоящий момент «невозможнее Европы», теперь, напротив, столь же убежденно доказывал необходимость соединения социализма с русской общиной, служащей, на его взгляд, естественной предпосылкой «социалистической революции». Он писал: «Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском. Артель и сельская община, раздел прибýtка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой, — все это краеугольные камни, на которых созиждется храмина нашего будущего свободнообщинного быта. Но эти краеугольные камни — все же камни... и без западной мысли наш будущий собор остался бы при одном фундаменте.

Такова судьба всего истинно социального, оно невольно влечет к круговой поруке народов... Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при диком общинном быте, другие — при отвлеченной мысли коммунизма, которая, как христианская душа, носится над разлагающимся телом» (30, 111).

Наконец, сводя воедино итоги своих размышлений над будущностью русской общины, Герцен в статье «Русские немцы и немецкие русские» (1859) констатировал: «Итак, элементы, вносимые русским крестьянским миром, — элементы стародавние, но теперь приходящие к сознанию и встречающиеся с западным стремлением экономического переворота, — состоят из трех начал, из:

1. права каждого на землю,
2. общинного владения ею,
3. мирского управления.

На этих началах, и только на них, может развиваться будущая Русь» (26, 300).

Сравнение взглядов Фонвизина и Герцена показывает, что оба они, во-первых, признавали русскую земледельческую общину исконным национальным учреждением, являющимся основой будущего преобразования России, во-вторых, усматривали в ней практическое воплощение западноевропейских социалистических идеалов и, в-третьих, стремились при этом предохранить Россию от появления пролетариата, т. е., собственно, от буржуазно-капиталистического пути развития. Все это не только подтверждает справедливость вывода В. И. Ленина о том, что «декабристы разбудили Герцена» (5, 261), но поясняет также причину того, почему Герцен от декабризма перешел к теории социализма. Путь его не мог быть иным, ибо, как убеждает пример Фонвизина, эволюция пестелевского направления в декабризме совершалась в том же направлении.

Впрочем, сходство взглядов Фонвизина и Герцена на практическую роль русской общины не означает, что они понимали столь же оди-

наково и ее историческое предназначение. Мы видели, что Герцен признавал необходимым соединение патриархальной сельской общины с западноевропейским социализмом, чтобы эта община стала действительным основанием социалистического преобразования; в противном случае, доказывал он, Россия может остаться лишь при одном фундаменте свободнообщинного быта. Само же это соединение было для Герцена не чем иным, как внесением европейского революционного элемента в русские общинные отношения. «Община — это детище земли, — писал он, — усыпляет человека, присваивает его независимость, но сама не в силах ни защитить себя от произвола, ни освободить своих людей; чтобы уцелеть, она должна пройти через революцию» (25, 411). Другими словами, для Герцена распространение социалистических идеалов было необходимо прежде всего для революционирования русского крестьянства.

Фонвизин же полагал, что именно революционирование крестьянства приведет к разрушению общинного землевладения в России и породит пролетариат. Поэтому он и ратовал за сохранение крестьянского общинного быта, в котором видел воплощение идеальных стремлений утопического социализма. Фонвизин был убежден, что «русский народ призван из своих родных стихий развить новую мировую идею» (14, 15 об.). По его мнению, эта «мировая идея» — социализм — сплотит вокруг России все славянские племена и упрочит за ними главенствующее значение в историческом развитии. «Может быть, — писал он, — так называемый панславизм, о котором с таким пренебрежением отзываются немцы и французы, не есть порож-

дение фантазии и не лустая мечта, как многие из них утверждают. Европейцы предчувствуют постоянно возрастающее исполинское могущество нашего отечества, страшатся его, и оттого их неприязнь к нему. Дальновидные из них знают прочность и долговечность России» (там же, л. 16).

Не сталкиваемся ли мы в лице Фонвизина с мыслителем, пытавшимся развить концепцию «русского социализма» на славянофильской основе?

Вопрос этот не лишен основания, так как характер социологических обобщений Фонвизина напоминает манеру мышления славянофилов. Однако «славянофильство» Фонвизина качественно разнится по своему содержанию от славянофильства московских мыслителей 40—50-х годов XIX в. Славянофилы развивали и проповедовали воззрение, согласно которому русская община получила свое действительное содержание и значение благодаря воспринятому ею «цельному умозрению святых отцов церкви». Православию же, утверждали они, община обязана выработкой известной нравственной физиономии, в частности верным пониманием символа «братства». «Это понятие,— писал А. С. Хомяков,— это чувство воспитывается и крепнет только в православии... Оттого-то и не могла земская община сохранить свои права вне земель православных...» (цит. по: 60, 220).

В массе своей славянофилы, полагая, что христианство внесло в национальный быт русского народа «сознание и свободу» и сделало таким образом этот быт «как бы светскою, историческою стороною церкви», видели свою задачу в том, чтобы содействовать более полно-

му просветлению «народного общинного начала общинным церковным» (см. 57, 64). Иначе говоря, они возлагали на себя труд чисто миссионерский, церковно-просветительский и, ориентируясь исключительно на православие, стояли, естественно, на позициях ортодоксального неприятия всех других вариантов христианского вероучения, в особенности католицизма.

Что касается Фонвизина, то он, во-первых, был абсолютно чужд стремления растворить русскую общину в православии.

Во-вторых, он отнюдь не считал, что русская община приобрела свое истинное содержание в результате слияния с общинностью церковной, ибо и саму церковь рассматривал лишь как исторически неудавшуюся попытку организоваться на общинных началах. В-третьих, не признавая церкви «внешней», официальной, он отвергал претензии равно и католицизма, и православия на вселенское значение.

Наконец, Фонвизин, объявив общинный быт «чисто славянской стихией» и понимая последний исключительно как общественное землевладение и политическое «народоправство», тождественные основным идеалам социалистических учений Запада, провозглашал тем самым именно социализм той новой мировой идеей, которую призван развить русский народ.

Хотя славянофилы также выделяли в качестве отличительного признака и главного достоинства русского национального быта начало общинности, но, осмысливая данную общинность с точки зрения христианской, более того, считая ее явлением преимущественно нравственно-религиозным, они проповедовали фактически идею «чистого» христианства, вообще

идею христианского церковного «братства», которую, по их мнению, сохранил во всей полноте и объеме только русский народ и которую он призван возвестить остальному миру.

Учитывая сказанное, можно утверждать, что Фонвизин поддерживал в целом стремление славянофилов 40—50-х годов к возрождению общеславянского единства на национально-своеобразной основе, поэтому идеализировал «коренное начало» славянского мира — общинность. Но он решительно расходился с ними во взгляде на самую сущность славяно-русской общины, считая ее экономическим основанием истинной демократии и социализма.

Г. В. Плеханов, характеризуя социологические взгляды Белинского и Герцена, замечал: «Что передовые русские люди 40-х годов не могли сделаться основателями научного социализма, это в достаточной мере объясняется экономической отсталостью России и их неполным знакомством с экономикой Запада. Но что эти люди дошли до сознания неудовлетворительности утопического социализма, это свидетельствует об их выдающейся даровитости» (53, 733).

Эти слова могут быть в равной степени отнесены и к декабристу М. А. Фонвизину.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге идейной эволюции Фонвизин пришел к «русскому социализму». Мы отмечали выше, что развитие воззрений Фонвизина в направлении к идеалам социализма было обусловлено той духовной традицией, которая сложилась в декабризме под влиянием Пестеля. Именно Пестель отстаивал идею общинного землевладения как исконно национальной формы владения собственностью. Этот вывод послужил позднее тем теоретическим мостиком, по которому русские мыслители переходили в лагерь утопического социализма.

Учениями социалистов-утопистов декабристы интересовались еще в 20-е годы. М. С. Лунин, например, был лично знаком с Сен-Симоном, и последний даже видел в нем возможного пропагандиста социалистических учений в России. В начале 30-х годов активное участие в собраниях сенсимонистов принимал А. И. Тургенев. В эти годы П. Я. Чаадаев, размышляя о путях установления справедливых общественных отношений, также обращается к изучению сенсимонизма. «Но смутное сознание говорит мне, — писал он А. С. Пушкину, — что скоро придет человек, имеющий принести нам истину времени. Быть может, на первых порах это бу-

дет нечто, подобное той политической религии, которую в настоящее время проповедует С.-Симон в Париже...» (68, 180).

Однако до 40-х годов утопический социализм привлекал русских мыслителей с точки зрения социального идеала вообще; никто из них не представлял себе конкретных способов реализации этого идеала на русской почве. Впрочем, как справедливо отмечал П. В. Анненков, сам «европейский социализм того времени не стоял еще на практической и научной почве, а только разрабатывал покамест нечто вроде «видений» из будущего строя общественной жизни, которую он сам рисовал по своему произволу» (19, 272).

Лишь после того как была «открыта» русская крестьянская община, утопический социализм в России наполняется конкретным содержанием, приобретает политический, революционный характер. Передовые русские мыслители теперь ищут в произведениях Сен-Симона, Фурье, Оуэна и других социалистов-утопистов ответ на вопрос, как, уничтожив крепостное право в России, избежать «язвы пролетариата». Они приходят к выводу, что единственным средством для этого является развитие страны по пути общинного земледелия. Н. Г. Чернышевский прямо писал: «В настоящее время мы владеем спасительным учреждением, в осуществлении которого западные племена начинают видеть избавление своих земледельческих классов от бедности и бездомности» (69, 103).

Учреждение это — общинное пользование землями, «оставленное нам нашею прошедшею жизнью». Признав затруднительным введение

на Западе «лучшего порядка» экономических отношений в силу исчезновения общинной поземельной собственности и безграничного расширения «юридических прав отдельной личности», он констатировал: «...теперь судьба нашего народа на много веков еще в наших руках; через пятьдесят, быть может, через тридцать лет или — кто знает, замедлится или ускорится неизбежный ход событий? — быть может, и раньше будет уже поздно поправлять дело» (там же, 95).

На этих же позициях в 50-е годы стоял А. И. Герцен, который, как уже говорилось выше, попытался соединить русскую земледельческую общину с западным утопическим социализмом. «Мы русским социализмом, — писал он, — называем тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владенья и общинного управления и идет вместе с работничьей артелью навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще и которую подтверждает наука» (27, 302).

В этом же направлении развивал декабристскую социологию М. А. Фонвизин. Это подтверждает глубокую идейную преемственность между революционно-демократической идеологией и декабризмом; преемственность, свидетельствующую о неразрывности исторического процесса русского освободительного движения.

Тезис, лежащий в основе теории «русского социализма», состоит в том, что общинная форма землевладения, препятствуя пролетаризации крестьянства, ликвидирует тем самым предпосылки возникновения буржуазных, капитали-

стических отношений. Данный тезис получил со временем концептуальное оформление в народнической доктрине 70—80-х годов XIX в. В. И. Ленин, критикуя народников, писал: «Вообще ошибочно думать, что для самого возникновения земледельческого капитализма требуется известная форма землевладения... Таким образом, никакие особенности землевладения не могут, по самой сущности дела, составить непреодолимого препятствия для капитализма, который принимает различные формы, смотря по различным сельскохозяйственным, юридическим и бытовым условиям. Отсюда можно видеть, как неправильна была самая постановка вопроса у наших народников, которые создали целую литературу на тему: «община или капитализм?»... Действительно важный вопрос относится вовсе не к форме землевладения, а к тем остаткам чисто средневековой старины, которые продолжают тяготеть над крестьянством: сословная замкнутость крестьянских обществ, круговая порука, непомерно высокое податное обложение крестьянской земли, не идущее ни в какое сравнение с обложением земель частного владения, отсутствие полной свободы мобилизации крестьянских земель, передвижения и переселения крестьянства. Все эти устарелые учреждения, нисколько не гарантируя крестьянство от разложения, ведут только к умножению различных форм отработков и кабалы, к громадной задержке всего общественного развития» (4, 321—322).

Ленинская оценка народнической доктрины является, собственно, оценкой «русского социализма» вообще. Правда, и Герцен, и Фонвизин, и Чернышевский сознавали, что существующая

крестьянская община далека от совершенства, подвержена развращающему влиянию крепостнических отношений. Однако данное обстоятельство не меняет существа дела: они именно в сохранившейся форме общинного землевладения усматривали реальные начала социалистического преобразования России и не видели того, что русская община вступила на путь развития земледельческого капитализма (см. 24, 480—565).

Но если рассматривать «русский социализм» с точки зрения общей исторической перспективы русского освободительного движения, то необходимо признать его исключительное пропедевтическое значение: эта теория воспитала целую плеяду революционеров-народников и подготовила теоретическую почву для быстрого проникновения марксизма в Россию в 70—80-е годы XIX в.

ОТРЫВКИ
ИЗ СТАТЬИ М. А. ФОНВИЗИНА
«О ПОВИНОВЕНИИ ВЫШНЕЙ ВЛАСТИ,
И КАКОЙ ВЛАСТИ ДОЛЖНО ПОВИНОВАТЬСЯ»
(1823)

ВОЦАРЕНИЕ НАПОЛЕОНА

Счастливым наследник Французской революции, Наполеон, достигая постепенно высшей власти, переменял скромное звание консула в пышный титул императора и, действительно, присвоил власть императоров римских, уничтожая европейские троны и возводя на оные новые династии своего племени в виде вассалов, состоящих под его покровительством. С удивлением увидели в Неаполе, в Гишпании, в Голландии, в Швейцарии новых королей, попеременно восходящих и нисходящих по мановению одного человека, бесспорно распоряжавшегося жребием Европы. Законные государи изгнаны из своих владений, и приверженцы их признаны за *инсургентов*, то есть за возмутителей против законной власти; хотя можно предполагать, что Наполеон, нимало не заботившийся о законности, подразумевал тут единственно повинование *существующей власти*, с чем и все европейские державы, кроме Англии, которая никогда не отступала от своих правил, поспешили согласиться. Любопытно было видеть, как все дворы наперерыв один перед другим, стараясь подражать тону парижских газет, упоминали о инсургентах *неаполитанских калабрийских* и даже *гишпанских*, разумея целую нацию, великодушно поклявшуюся защищать свою свободу от насильства, под оскорбительным названием инсургентов; какая странная логика! Не менее того справедливо, что сие общее согласие в поступках европейских держав служило ко введению нового политического права, гласящего народам: *повинуйтесь властям существующим, не заботясь о вчерашних законных*.

Но мы тотчас увидим, что сие признание со стороны правительств права, вредного для их прочности, было только временное, зависимое от обстоятельств и что они признают иногда законность власти, не выводя из того общего правила.

НАПОЛЕОН В МОСКВЕ

Усилимый похищенной в Европе властью и воинскими пособиями всего Запада, за исключением Англии, Наполеон, горящий нетерпением увенчать свое честолюбие покорением России, двинулся в ее пределы с необъятными силами, как новый Тамерлан, и через три месяца воссел в Кремле, на древнем престоле российских царей. Успехи не соответствовали его ожиданиям, и он скоро потерпел поражение на возвратном пути. Но тут дело не о событиях, а о законности права соразмерно с прежними поступками всех европейских держав. Разве Наполеон не имел такого же права называть защитников нашего отечества *инсургентами московскими, петербургскими, калужскими* и проч.? И сии неистовые провозглашения повторялись бы во всех иностранных ведомостях и журналах, потому что и Россия точно так же поступала против других наций, защищавших свою независимость.

В несчастное для России время, когда поляки, двести лет тому назад, воцарились в Москве, они таким же образом почитали всех верных сынов отечества, присоединившихся к знаменам Минина и Пожарского, за инсургентов, за бунтовщиков, за изменников. Но хорошо ли поступили сии усердные и великодушные россияне, сохранившие бытие и славу своего отечества с пожертвованием своей жизни и имущества? Конечно, хорошо; и благодарное отечество до сих пор прославляет их полезные подвиги. Почему ж не позволено было неаполитанцам и гишпанцам воспользоваться тем же естественным правом? Я не говорю уже ничего о сопротивлении Наполеона, который составлял одну из воюющих сторон (оно было основано на необходимости продолжать начатое предприятие), но о сопротивлении всех европейских держав (всегда повторяю, кроме Англии), препятствовавших добровольно освобождению народов от чуждого ига и возвращению их под власть законных государей. История распутает эту загадку и заметит коварство царей черным пятном неизгладимо в своих страницах. Наполеон правду говорил: европейские династии устарели, надо их возобновить. Никто лучше его не мог видеть, что они собственных польз своих не разумеют и сами не знают, что делают.

Тут я вижу нахмуренное чело глубокомысленных политиков, которые возражают: это было следствие необходимости. Политика позволяет и предписывает даже укло-

няться от угрожающего бедствия благоразумною уступчивостью для предохранения народного благоденствия, а когда благоприятные случаи откроются, всякая держава имеет право возвратить свое достояние и стать на чреду, ей присвоенную.

Я отвечаю, что никакая держава не может, равно как и честный человек, вступить в прежнюю чреду, потеряв свое нравственное достоинство. Можно быть великим завоевателем, расширить свои границы разными похищениями, но доверие народов, неразлучное со справедливостью, никогда не возвратится, и проклятия потомства ознаменуют тирана печатью всеобщего омерзения к его бесчеловечным подвигам. Касательно уклонения от угрожающей напасти, я знаю, что это позволяется, но кому? Какой-нибудь небольшой области, купеческому городу, какому-нибудь еврейскому кагалу, а не державам первостатейным, заключающим в себе от 20 до 40 миллионов жителей. Сии последние, относительно сохранения своей независимости и нравственного достоинства, имеют одно правило, закон необходимости, то есть защищать свое право до истощения сил. Вещественная победа на поле сражения, хотя и приносит некоторую пользу победителю, не лишает достоинства побежденных, если они исполняли свою обязанность; но та победа, которая приобретается одним страхом событий, кои могут и не случиться, есть невозвратная потеря в политическом смысле. Для всякой нации, стоящей на ряду первенствующих держав, она сама лишает себя своего достоинства даром, не испытав своих сил. Когда бесчисленные орды монголо-татарские наводнили Россию, то российские народы, давши им сильный отпор во многих сражениях и будучи поглощены, так сказать, сею грозною тучею варваров, должны были, наконец, покориться закону необходимости. Но при заключении Тильзитского мира, когда еще российские пределы оставались неприкосновенными, не было закона необходимости усторонить Россию от влияния в европейские дела и согласиться предварительно на все перемены и постановления, какие вздумается Наполеону сделать. — История от сотворения мира не представляет нам подобного трактата, который даже и Парижским трактатом не может быть заглажен. И к чему послужили все сии раболопные уступки, ухищрения? Разве к тому, чтобы скорее Наполеона привести в Москву. Сии политические рассуждения отвлекли нас от нашего предмета, к которому должно возвратиться.

Итак, Россия освободилась от порабощения единодушным движением русского народа, сего народа, рабственного внутри, но не терпящего наружного владычества; он сказал: *не повинуйтесь власти иноплеменной, станьте за веру и за отечество!* Все европейские народы ему рукоплескали и вскоре к нему присоединились против общего врага, который, будучи преследуем в самых недрах Франции, наконец отречением от трона приобрел убежище на острове Эльбе. Тогда правительства переменили образ мыслей и выражений; они начали называть белым то, что прежде называли черным. Фердинанду позволено возвратиться в Гишпанию. Но Иоахим Мюрат все еще оставался в Неаполе, потому, говорят, что ему дано было слово! Данное слово хищнику столь свято соблюдено; а сколько слов, гораздо важнейших, и прежде и после нарушено! Действия Венского конгресса еще лучше объяснят законную кривую политику европейских кабинетов, которые при всяких случаях руководствуются более своекорыстными видами, нежели целью общего блага, в манифестах провозглашаемого.

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС

Никогда, может быть, не предстояли столь важные и разнообразные предметы к рассуждению и беспристрастному разбирательству, как на сем великолепном сейме, который мог бы составить не только достопамятную, но и благотворную эпоху для всех европейских наций. Всеобщее утомление после 25-летних бедствий достигло до крайности. Все народы просили, требовали мира. Не меньшая настояла надобность и в том, чтобы всякий получил по возможности вознаграждение соразмерно с потерпенною потерею, а главный предмет, чтобы учредить равновесие между сильными державами, сколько можно приблизительнее к справедливости и сообразнее с общей пользою Европы. Не тот дух господствовал в сем собрании царей и полномочных, кои помышляли единственно о частных своих выгодах. При сем волнении страстей нельзя было ожидать правдивых уравнений; какая прибыль в том, что Франция ограничена, когда другие державы получили опасный для спокойствия Европы перевес! Одним словом, вместо мудрых соображений, необходимо нужных для согласования столь различных и многосложных видов, решено кончить миролюбивым разделом меж-

ду сильными державами назначенных добыч, а слабым и обиженным обещан мир в настоящем и благоденствие в будущем...

К сей же эпохе Венского конгресса относится рождение Священного союза. Сие уродливое произведение новейшей политики сначала многих ввело в заблуждение. Можно было полагать, что союз, основанный на исповедании строгого христианского учения, будет в виде новой Крестовой конфедерации противудействовать всяким нарушениям установленного порядка, захватам, разделам; в сем виде должно бы всем европейским державам составить союз, чтобы общими силами действовать против всякого нарушителя общественного спокойствия. Но эта полезная идея, заимствованная от бывшего некогда Амфикионического союза, едва ли когда созреет при своекорыстных видах нынешней политики. Дело в том, что Священный союз при первом шаге доказал, сколь он противоречит своими поступками святости проповедуемых правил. Мудрено поверить, чтобы все разделы, о коих было выше упомянуто, были сообразны с духом христианской религии. Напротив, они скрывают в себе семена будущих раздоров, которые можно бы по-христиански предупредить справедливым удовлетворением всех сторон и великодушным отречением от всякого чуждого присвоения, сохраняя собственное свое достояние. Вот истинная политика христианская, приличная сильным и великим державам. Просто сказать, Священный союз под честным именем составлен единственно в намерении, чтобы защищать то, что несправедливым образом было захвачено и что впредь может быть похищено.

Мимоходом я скажу несколько слов о сей, ныне употребляемой к бесславию европейского просвещения кривой политике, которая хитрость и коварство почитает за искусство, за науку. Славные нынешние дипломаты воображают, может быть, что они уже достигли в сем ремесле до некоторого совершенства. Они весьма ошибаются. Пускай доучиваются у персиян, у азиятцев, вообще там, где за обещанием следует нарушение, за уверением в дружбе — измена, за приветливою ласкою — кинжал; если же они сие постыдное сравнение сочтут неуместным, то пускай отменяют двуличные свои поступки и утверждают, наконец, правила политики европейской как символ веры на прочных и незыблемых основаниях; на что эти две меры и двое весов, одни для себя, другие для соседа? Политика так же ясна и проста, как и математика. Она в существе

своем есть не что иное, как точность, верность, справедливость. Условия, заключенные с соседями под названием трактатов, союзов, уступок, должны быть основаны на взаимных выгодах; иначе они теряют силу, равно как односторонний контракт в гражданском отношении. Политика состоит в том, чтобы в разумных свободных существах произвести внутреннее убеждение не хитросплетенными словами, но вещественными доказательствами, что они за свою потерю или за уступку получили приличное вознаграждение; если они довольны и действительно находят в том свои выгоды, то условие с обеих сторон останется ненарушимым. Если же все это сделано по принуждению силы, то оно непрочное и при первом случае будет нарушено как условие, незаконным образом заключенное. Следовательно, главнейшая обязанность политики состоит в том, чтобы не допускать бедствие силы, пока можно согласить разнообразные притязания посредством справедливости. Ибо сила после победы не оставляет права, но только служит к увековечению народных злосчастий. Как больно видеть, что Европа в XIX столетии находится еще при азбуке сей важной науки и что после светлых начал, произведших Вестфальский мир, она не только не усовершенствовала оную для блага рода человеческого, но поступила несколько шагов назад к варварским временам хищения и самоуправства. Обратимся к Венскому конгрессу для окончательного суждения о его поступках.

Венский конгресс, стараясь исправить беспорядок, возникший со времени Французской революции, только вполнину достигнул до своей цели, доставя общий мир Европе; но, с другой стороны, он запутал понятия политического права до такой степени, что они сделались двусмысленными, невразумительными. Можно ли наказывать царей? Можно ли законных царей лишать их наследственного престола по каким-нибудь временным расчетам? Можно ли, наконец, располагать сими разделенными по жребию народами, не спрашивая их согласия? Вот сколько вопросов остаются в недоумении после Венского конгресса. Он сказал иным народам: *повинуйтесь законным властям*; другим: *повинуйтесь новым властям*, или, правильнее, *повинуйтесь силе*; напоминание бесполезное, ибо сила сама себе доставляет повиновение без помощи ложных понятий.

ЛЕЙБАХСКИЙ КОНГРЕСС

Неаполитанцы, по восстановлении законной у них власти, восчувствовали сильное желание иметь конституцию наподобие других европейских ограниченных монархий, в чем и получили желаемый успех с согласия принца-регента, по отречении короля, который, как известно, давно уже не управлял делами и не способен был к тому по недостатку нравственных способностей; вот причина съезда царей и полномочных в Лейбахский конгресс под непосредственным влиянием Священного союза; к тому, конечно, способствовало и пламенное желание всех итальянских народов избавиться от австрийского владычества. А как в то же время появились в Италии тайные общества под названием *карбонариев*, то возникшая в Неаполе новая конституция приписана к заговору *карбонариев* и признана незаконною, как будто самостоятельная нация не имеет права переменять образ своего правления и устанавливать новые законы внутри своих пределов до тех пор, пока она не нарушает спокойствия своих соседей. Не зная в точности состава сих тайных обществ, мы не можем ни порицать, ни защищать их. Известно, однако, что главная цель *карбонариев* состоит единственно в том, чтобы доставить независимость всей Италии. Прекрасная мысль! И кто не пожелает вместе с ними, чтобы это исполнилось.

Суд был короткий. Сто тысяч австрийцев вступили в Неаполитанские владения, уничтожили все, что им было угодно, и учредили в Неаполе австрийское военное правление. Тут прекращаются всякие размышления, тем более что от союзников обещано прислать еще двести тысяч войска, буде нужда того востребует. Священный союз возгласил при сем случае новое политическое право: *повинуйтесь силе*, и хотя оно умолчано в решении конгресса, но дела и происшествия весьма красноречиво это объясняют.

Должно заметить, что в то же время Греция восстала против угнетающего ее тиранства и гишпанский народ, недовольный монашеским правлением, дал себе новую либеральную конституцию. Сии две эпохи, случившиеся совокупно с неаполитанскою революциею, поразили Священный союз глубоким недоумением. Страх увеличил воображаемые будущие опасения. Ему представилась медузина голова вместо обыкновенных, естественных последствий. Сколько друзей человечества, ожидавших с нетерпением сей греческой революции! Екатерина страстно того желала, и ныне многие благомыслящие европейцы словом

и делом помогают сим несчастным по своей возможности. Союз остался непреклонен и предоставил их на произвол судьбы. Дума о гишпанских делах отсрочена до другого конгресса, коим вслед за сим мы намерены заняться.

ВЕРОНСКИЙ КОНГРЕСС

Опять собрались цари Священного союза в Верону для решения гишпанских дел. Они имели и другие предметы к рассуждению, но этот, кажется, был главнейший. Посмотрим, было ли тут место к столь важному размышлению.

Фердинанд, изгнанный, свергнутый с престола самовластием Наполеона, возвращен в свое отечество твердым постоянством гишпанского народа, который против всех сил решился умереть или победить. Единственный пример в истории народов! Фердинанд возвратился и был принят с восторгом. Во время его отсутствия учредилось законное правление под названием кортесов, Сии кортесы, действуя именем Фердинанда, спасли честь, славу и независимость гишпанского народа. Вместо благодарности, которую должно было бы оказать сему знаменитому словию, король, по возвращении своем, тотчас его уничтожил, наполнил все места духовными особами, возобновил инквизицию, столь ненавистную Гишпании, равно как и всей Европе, и начал господствовать как деспот в завоеванном государстве. Это не могло понравиться гишпанскому народу — верному, гордому и постоянному в своих правилах, получившему столь дурное награждение за свои великодушные услуги от короля, который сидел в заточении в то время, когда все королевство, сражаясь за его особу, подвержено было бесчисленным бедствиям войны. Неоднократно разгорались искры неудовольствия. Наконец в 1820 году составлена последняя конституция, которую король, вероятно против воли, принужден был одобрить. Если бы он имел характер, приличный своему званию, ничто не мешало ему не согласиться на конституцию, которая ему не нравится, и тогда он бы мог благородным образом отречься от престола или исправить недостатки конституции своими замечаниями. Он подписал от страха и теперь со страхом сидит на колеблющемся престоле. Из буйного деспота сделался малодушным рабом. Кто виноват?

Сие положение Фердинанда, можно сказать добровольное, обратило на себя внимание Священного союза, кото-

рый, увеличивая бедствия Гишпани, полагает, что они могут впоследствии иметь вредное влияние на соседние области. Увеличивать можно, но действовать по предвидению на соседние державы, от коих не последовало никакого вреда, кажется, непозволительно в здравой политике, которая весьма разнится от нынешней. Против кого и какое именно сделала нарушение Гишпаниа? Никакого. Если в политике допустить предвидение, то это выйдет хуже похищений. Всякий станет предвидеть небылицу по своим выгодам и затеям и будет тревожить своего соседа требованием, чтобы он удовлетворил его предвидению. Это походит на арабские сказки.

Однако ж из того вышла не сказка, а истинное событие, несколько месяцев тому назад в глазах всей Европы совершившееся. Веронский конгресс решил, что нынешние кортесы, составленные военной революциею, не имеют надлежащей законности, что состояние безначалия, существующее в Гишпани, и вредные правила, некоторыми партиями возглашаемые, могут иметь пагубные следствия для соседственных держав, и потому предоставил Франции управиться с Гишпаниею с обещанием ей всякой помощи, буде востребует нужда, на таком же основании, как и на Лейбахском конгрессе предоставлено Австрии управиться с неаполитанскою конституциею. Эта еще новая система, в сих последних годах принятая, сводит соседей не на мир, а на брань, вероятно, чтоб сильнее доказать через повторительные опыты несообразность поступков Священного союза с духом христианской религии. А главнейшее зло состоит в допущении права мешаться в чужие дела, то есть во внутренние дела государства независимого. Великобритания объявила себя нейтральною. Но это слишком мало для предохранения Европы от дальнейших покушений со стороны Священного союза на независимость держав твердой земли. Всякий год новый конгресс и новые в Европе беспорядки и нарушения! Когда же это кончится? Кажется, что англичане, сколько можно заключить по парламентским прениям, сами раскаиваются в том, что дали усилиться сему антиполитическому Союзу, угрожающему теперь целой Европе, чему легко можно было воспрепятствовать на Венском конгрессе недопущением до разделов, нарушивших политическое между державами равновесие. Но видно, что Сент-Джемский кабинет пристрастился также со своей стороны к прелестным видам Ионических островов и не захотел с ними расстаться. А теперь уже трудно поправить сделан-

ную ошибку, разве при случае войны, которой желать не должно, буде через дальнейшее продолжение насильств не будут вынуждены к тому обиженные и угнетенные народы.

Могут возразить, что действительно в Гишпании царствует теперь безначалие: государство раздираемо разными партиями, король не имеет никакой власти, и что соседственные державы, потеряв доверие к правительству, не имеющему точного основания, не могут продолжать с ними обыкновенных сношений. Точно так. Но что ж из сего следует? И что хотят доказать? Соседи, кому угодно, властны прекратить с гишпанцами сношения, дав им время распорядиться, перебеситься, пока устроится у них прочное правление. Но никто не имеет права мешаться во внутренние их дела и учреждения, разве тогда, когда гишпанцы сами станут мешаться в чужие дела, что они до сих пор не делали. Беспорядки, там существующие, вредны для самих гишпанцев и никакой опасности не составляют для соседей, если сии последние, оставаясь также в покое, не будут смотреть на все предметы в увеличительное стекло, что им нужды до партий и раздоров, которые из пределов Гишпании не выходят? Пускай стараются об учреждении у себя лучшего порядка.

Английская конституция, конечно, лучшая, не в теории, но потому, что она существует уже несколько сот лет. Но как же достигли до нее великобританцы? Не иначе как проходя целые столетия сквозь раздоры и междоусобные несогласия. И теперь у них множество партий, одна другой противоборствующих и составляющих ту благотворную оппозицию, которая, как верный страж, охраняет целостность законов и независимость английского народа. Однако европейцы уже к тому привыкли и не почитают сии временные распри за упадок правления. В Гишпании, скажут, примечаемо совсем противное: там нет постоянного хода в делах и крамольники руководствуются главнейшими пружинами, как будто можно в два года сделать совершенную конституцию? Пускай так, но по крайней мере всякая самостоятельная нация имеет неоспоримое право избирать приличную форму правления, переменять законы и составлять новые. Все европейские державы в том были согласны до Лейбахского конгресса. Швеция неоднократно изменяла свою конституцию в прошедшем столетии; никто ей в том не препятствовал. В 1814 году Франция дала себе конституцию без всякого сопротивления со стороны союзных держав; вслед за

сим Бавария, Вюртемберг, Баден, Ганновер приняли новую форму правления, согласно с желанием народов, — и никто не противоречил. Почему же столь строгое сопротивление оказано неаполитанской и гишпанской конституциям?

Причины известны. Это — явная война, объявленная со стороны Священного союза всяким свободомыслящим (либеральным) идеям, учреждениям и людям. Напрасный труд! Мысль быстрее птицы взлетает на горизонт, ей свойственный, и озаряет поднебесную светлыми лучами истины, не боясь никаких препон. Сила может только остановить на время действие общего мнения, но уничтожить его никакая человеческая власть не в состоянии.

Правительства должны будут, наконец, сблизиться с общим европейским просвещением, от коего они отстали, руководствуясь видами самовластия, — или они потеряют власть вместе с доверием, упорствуя в своей системе, и останутся как чуждые пришельцы, не знающие семейственных обрядов, без приглашения на общий пир свободы.

Бедные греки, о коих мимоходом упомянуто в решении Веронского конгресса как о людях, принадлежащих к тому же гнезду крамольников — неаполитанских и гишпанских, отринуты от покровительства европейских держав, депутаты их не приняты, и дела их оставлены без всякого внимания. Сия непонятная и оскорбительная логика показывает, кажется, величайшее ослепление и забывчивость конгресса на счет бывших прежде и ныне повторенных происшествий, которые, будучи одобрены европейскими державами, составляют политическое право, основанное равномерно и на естественном законе. Россия освободила нас от порабощения татарского; в то же время шведы избавились от ига датского; гишпанцы освободились от мавров и в последнее время — от французов: все это бесспорно и с радостью принято в Европе. А грекам не позволено избавиться от ига турецкого, под коим они страдают несколько столетий. Я говорю не позволено, потому что право греков к освобождению отвергнуто Веронским конгрессом, признавшим их в виде инсургентов, бунтовщиков. Если б греки предоставлены были своей судьбе, они не имели бы причины жаловаться. Но с ними поступлено слишком жестоко, смешав их с бунтовщиками за то единственно, что их революция вспыхнула в одно время с неаполитанскою. Со всем тем может открыться для них легкий способ примирения с союзными держава-

ми. Положим на минуту, что возгорелась война с турками; Священный союз немедленно признает законность прав греков, *сражающихся за независимость своего отечества*. О провидение! Можно ли так ругаться над человечеством? Державы, совокупившиеся Священным христианским союзом, оставляют христиан, погибающих под мечом варваров, не заботясь о несчастном их жребии и располагаясь подать им помощь тогда только, когда откроются выгодные для них политические обстоятельства. Теперь для них не время, а после для спасения греков уже будет поздно.

Из взгляда на действия сих союзов и конгрессов европейская нынешняя политика представляется в самом печальном и пасмурном виде, не обещая ясных дней и в будущем... (10, 485—491).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Александр I 7, 8, 10,
 12, 27, 30, 90
 Алексей Михайлович,
 царь 74
 Анненков П. В. 126
 Антонович М. А. 49
 Антоний, архимандрит
 42
- Бабеф Гракх 104, 113
 Басаргин Н. В. 36
 Батеньков Г. С. 10, 46
 Безбородко А. А. 6
 Белинский В. Г. 124
 Беляев А. П. 36
 Бестужев-Рюмин М. А.
 77, 79
 Бестужев Н. А. 97, 98,
 99
 Бестужев А. А. 25
 Бирон Э. И. 79
 Бригген А. Ф. 110
 Бобрищев-Пушкин П. С.
 36
 Блан Луи 103, 113
- Васильчиков, граф 59
 Виельгорский, граф 43
 Волконский С. Г. 25
- Гакстгаузен А. 117
 Гегель Г. В. Ф. 47, 48,
 49
- Гервег Г. 117
 Герцен А. И. 6, 24, 34,
 41, 77, 79, 83, 84, 85,
 86, 87, 90, 91, 92, 94,
 115, 116, 117, 118,
 119, 120, 121, 124, 127,
 128
 Горбачевский И. И. 40,
 41
 Горчаков П. Д. 32
- Добролюбов Н. А. 49
 Достоевский Ф. М. 33
 Дуров С. Ф. 33
- Екатерина I 79
 Екатерина II 6, 7, 75,
 81, 82, 84, 89, 90, 92,
 139
 Ермолов А. П. 27, 30
- Завалишин Д. И. 11, 36,
 79
- Иван III 72
 Иван Грозный 9, 25, 72,
 87
 Иван Калита 71
- Кабе Э. 103, 113
 Кавелин К. Д. 68, 69,
 96
 Кайсаров А. С. 8

- Кампанелла Т. 113
 Кант И. 35, 50, 52,
 53, 54
 Карамзин Н. М. 70, 72
 Киреевский И. В. 96, 97
 Киселев П. Д. 57, 58,
 59, 60, 61, 67, 68
 Консидеран В. 113
 Константин Великий 42
 Константин Павлович,
 великий князь 31
 Кюхельбекер В. К. 32

 Лавров П. Л. 49, 112
 Ленин В. И. 115, 120,
 128
 Лопухин И. В. 43
 Лунин М. С. 15, 93,
 125

 Мабли Г. 113
 Макарий, архимандрит
 42
 Малиновский В. Ф. 8,
 21, 115
 Монтескье Ш. Л. 27
 Мор Т. 113
 Муравьев А. М. 11, 14
 Муравьев Н. М. 11, 15,
 16, 18, 19, 23, 24,
 25, 29, 46, 78
 Муравьев-Апостол С. И.
 11, 40, 41

 Набоков И. А. 67
 Нарышкин М. М. 25
 Наполеон I 27, 81, 85,
 133, 134, 135
 Николай I 31, 56, 57,
 59

 Оболенский Е. П. 25,
 33, 36, 37, 108, 109,
 110
 Орлов А. Ф. 59

 Орлов М. Ф. 46
 Оуэн Р. 104, 113, 126

 Павел I 6, 90
 Петр I 37, 72, 73, 74,
 88, 89, 92
 Петр III 79, 81
 Пестель П. И. 11, 14,
 15, 16, 17, 18, 19, 20,
 21, 22, 23, 24, 25, 38,
 39, 41, 57, 61, 77, 78,
 79, 81, 115, 125
 Писарев Д. И. 49
 Платон 112
 Плеханов Г. В. 124
 Пнин И. П. 8
 Прудон П. Ж. 103, 113
 Пугачев Е. И. 80, 81
 Пушкин А. С. 27, 31,
 125
 Пушкин И. И. 34, 59, 60,
 67

 Радищев А. Н. 21, 40,
 81, 115
 Раевский В. Ф. 26, 46
 Рейналь Г. 27
 Робеспьер М. 113
 Руссо Ж.-Ж. 27
 Рылеев К. Ф. 25, 46,
 77

 Сен-Симон А. К. 103,
 113, 125, 126
 Семевский В. И. 34
 Сперанский М. М. 8, 9
 Сыроечковский Б. Е. 33

 Тамерлан 134
 Толстой Д. А. 34
 Трубецкой С. П. 11, 15,
 25, 32
 Тургенев А. И. 12, 125
 Тургенев Н. И. 55

- Фердинанд, испанский король 140
- Фонвизин Д. И. 26, 45, 46
- Фонвизина Н. Д. 30, 31, 32, 33
- Фонвизин И. А. 26
- Фурье Ш. 103, 113, 126
- Хомяков А. С. 122
- Чаадаев П. Я. 125, 126
- Черепанов П. Н. 67
- Чернышев З. Г. 25
- Чернышевский Н. Г. 49
110, 126, 127, 128
- Шеллинг Ф. В. 35
- Энгельс Ф. 80, 81
- Юшневский А. П. 25
- Яворский С. 37
- Якушкин И. Д. 11, 28, 30

ЛИТЕРАТУРА

1. *Энгельс Ф.* Эмигрантская литература. — *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Сочинения, т. 18.
2. *Энгельс Ф.* Анти-Дюринг. — *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Сочинения, т. 20.
3. *Энгельс Ф.* К истории первоначального христианства. — *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Сочинения, т. 22.
4. *Ленин В. И.* Развитие капитализма в России. — Полное собрание сочинений, т. 3.
5. *Ленин В. И.* Памяти Герцена. — Полное собрание сочинений, т. 21.
6. *Ленин В. И.* Под чужим флагом. — Полное собрание сочинений, т. 26.
7. *Ленин В. И.* Государство и революция. — Полное собрание сочинений, т. 33.

8. *Фонвизин М. А.* Обзорение проявлений политической жизни в России. — «Библиотека декабристов», вып. 4. М., 1907.
9. *Фонвизин М. А.* Обзорение истории философских систем. — «Из истории русской философии XIX-го — начала XX-го века». М., 1969.
10. *Фонвизин М. А.* О повиновении вышней власти, и какой власти должно повиноваться (из статьи 1823 г.). — «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. I. М., 1951.
11. *Фонвизин М. А.* О крепостном состоянии земледельцев в России. — «Библиотека декабристов», вып. 4.
12. *Фонвизин М. А.* Показания. — «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. I.

13. *Фонвизин М. А.* О подражании русских иностранцам. — «Библиотека декабристов», вып. 4.
14. *Фонвизин М. А.* О коммунизме и социализме. — Рукописное отделение Института русской литературы (Пушкинский Дом), ф. 265, оп. 2, № 2950.
15. *Фонвизин М. А.* Из писем Е. П. Оболенскому (О социализме и коммунизме). — «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. III.
16. *Фонвизин М. А.* Заметки по истории христианства. — Рукописное отделение Института русской литературы (Пушкинский Дом), ф. 265, оп. 2, № 2950.
17. *Фонвизин М. А.* Письмо к родителям. — «Голос минувшего», 1915, № 2.

* * *

18. *Азадовский М. К.* Затерянные и утраченные произведения декабристов. — «Литературное наследство», т. 59. М., 1954.
19. *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1960.
20. *Бестужев М. А.* Записка. — «Воспоминания Бестужевых». М.—Л., 1951.
21. *Бестужев Н. А.* О свободе торговли и вообще промышленности. — Рукописное отделение Института русской литературы (Пушкинский Дом), ф. 604, № 17 (5586).
22. *Бобринцев-Пушкин П. С.* Из писем к Е. П. Оболенскому. — Рукописное отделение Института русской литературы (Пушкинский Дом), ф. 606, д. № 7.
23. *Володин А. И.* Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. М., 1973.
24. *Галактионов А. А., Никандров П. Ф.* Русская философия XI—XIX веков. Л., 1970.
25. *Герцен А. И.* О развитии революционных идей в России. — Сочинения в девяти томах, т. 3. М., 1956.
26. *Герцен А. И.* Русские немцы и немецкие русские. — Сочинения в девяти томах, т. 7. М., 1958.
27. *Герцен А. И.* Порядок торжествует! — Сочинения в девяти томах, т. 8. М., 1958.
28. *Герцен А. И.* Дневник 1842—1845. — Сочинения в девяти томах, т. 9. М., 1958.
29. *Герцен А. И.* Русское крепостничество. — Собр. соч. в тридцати томах, т. XII. М., 1957.
30. *Герцен А. И.* Былое и думы, т. 2. М., 1967.

31. «Декабристы. Поэзия. Драматургия. Проза. Публицистика. Литературная критика». М.—Л., 1951.
32. *Житомирская С. В.* Встречи декабристов с петрашевцами. — «Литературное наследство», т. 60, кн. I. М., 1956.
33. *Завалишин Д. И.* Записки декабриста, т. I. Мюнхен, 1904.
34. *Завалишин Д. И.* Вселенский орден Восстановления и отношения мои к Северному Тайному Обществу. — Рукописное отделение Института русской литературы (Пушкинский Дом), ф. 265, оп., 2, № 1059.
35. «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. I—III.
36. «История русской экономической мысли», т. I, ч. 1. М., 1955.
37. «История философии в СССР», т. 2. М., 1968.
38. *Кавелин К. Д.* Взгляд на юридический быт древней Руси. — Собр. соч., т. 1. СПб., 1897.
39. *Кавелин К. Д.* Записка об освобождении крестьян в России. — Собр. соч., т. 2. СПб., 1898.
40. *Кайдаш С.* «Та, с которой образован Татьяны милый идеал». — «Наука и религия», 1976, № 1.
41. *Кайсаров А. С.* Об освобождении крепостных в России. — «Русские просветители (от Радищева до декабристов)». Собрание произведений в двух томах, т. 1. М., 1966.
42. *Кант И.* Сочинения в шести томах. М., 1963—1966.
43. *Киреевский И. В.* Полное собрание сочинений в двух томах, т. I. М., 1911.
44. *Ключевский В. О.* Курс русской истории. — Сочинения в восьми томах, т. 5. М., 1958.
45. *Кюхельбекер В. К.* Из неизданного литературного наследия. — «Литературное наследство», т. 59.
46. *Лавров П. Л.* Из истории социальных учений. — «Избранные сочинения на социально-политические темы», т. 2. М., 1934.
47. *Лопухин И. В.* О внутренней церкви и о различных видах единого пути истины, также и о путях ложных. — Рукописное отделение Института русской литературы (Пушкинский Дом), РII, оп. 2, № 65.
48. *Лунин М. С.* Сочинения и письма. Петербург, 1923. (Примечание Лунина к сочинению «Разбор донесения Тайной следственной комиссии Государю императору в 1826 г.» цитируется по рукописи Пушкинского Дома, ф. 265, оп. 5, № 8.)

49. *Малиновский В. Ф.* Избранные общественно-политические сочинения. М., 1958.
50. *Нечкина М. В.* Движение декабристов, т. I—II. М., 1955.
51. *Окунь С. Б.* История СССР. 1796—1825. Курс лекций. Л., 1947.
52. *Орлов М. Ф.* Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963.
53. *Плеханов Г. В.* Философские взгляды А. И. Герцена. — Избранные философские произведения, т. IV. М., 1958.
54. *Плимак Е. Г.* Общественная мысль как предмет исторического исследования. — «Философские проблемы исторической науки». М., 1969.
55. *Предтеченский А. В.* Очерки общественно-политической истории в первой четверти XIX века. М.—Л., 1957.
56. *Раевский В. Ф.* Воспоминания. — «Литературное наследство», т. 60.
57. *Самарин Ю. Ф.* Сочинения, т. I. М., 1877.
58. *Семевский В. И.* Михаил Александрович Фонвизин. — «Общественные движения в России в первую половину XX века», т. I. СПб., 1905.
59. *Семевский В. И.* Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века, т. 2. СПб., 1888.
60. *Смирнова Э. В.* Социальная философия А. И. Герцена. М., 1973.
61. *Сперанский М. М.* План государственного преобразования. М., 1905.
62. *Сыроечковский Б. Е.* Сибирские статьи декабриста М. А. Фонвизина. — «Из истории движения декабристов». М., 1969.
63. *Тургенев А. И.* Записка о необходимости перемен в России. — Рукописное отделение Института русской литературы (Пушкинский Дом), ф. 265, оп. 2, № 2860.
64. *Туган-Барановский М.* Очерки из новейшей истории политической экономики и социализма. СПб., 1907.
65. *Фонвизин Д. И.* Избранные сочинения и письма. М., 1947.
66. *Фонвизин Д. И.* Сочинения. Полное собрание оригинальных произведений. СПб., 1893.
67. *Форлендер К.* Кант и Маркс. Очерки этического социализма. СПб., 1909.

68. Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. II. М., 1914.
69. Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения, т. 2. М., 1950.
70. Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII—XIX веков и Вольная печать. М., 1973.
71. Яворский Ст. Камень веры. М., 1728.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
Глава I. Этапы жизни	25
Глава II. Против тиранства и суеверия	35
Глава III. Крестьянский вопрос	55
Глава IV. «Спасение в революции»	77
Глава V. «Общинный социализм»	108
Заключение	125
Приложение. Отрывки из статьи М. А. Фон- визина «О повиновении вышней власти, и ка- кой власти должно повиноваться»	131
Указатель имен	144
Литература	147

Замалеев Александр Фазлаевич

М. А. ФОНВИЗИН

Заведующая редакцией В. Е. Викторова
Редактор В. А. Ширяева
Младший редактор А. В. Генералова
Оформление серии В. А. Носкова
Гравюра художника А. И. Ременника
Художественный редактор С. М. Полесицкая
Технический редактор В. Н. Корнилова
Корректор В. С. Матвеева

Сдано в набор 4 июня 1976 г. Подписано в печать 16 сентября 1976 г.
Формат 70×90^{1/32}. Бумага типографская, № 2. Усл. печатных листов 5,56.
Учетно-издательских листов 5,76. Тираж 40 000 экз. А 08144.
Заказ № 3219. Цена 17 коп.

Издательство «Мысль», 117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.
Типография издательства «Калининградская правда», Калининград, обл.,
ул. Карла Маркса, 18.